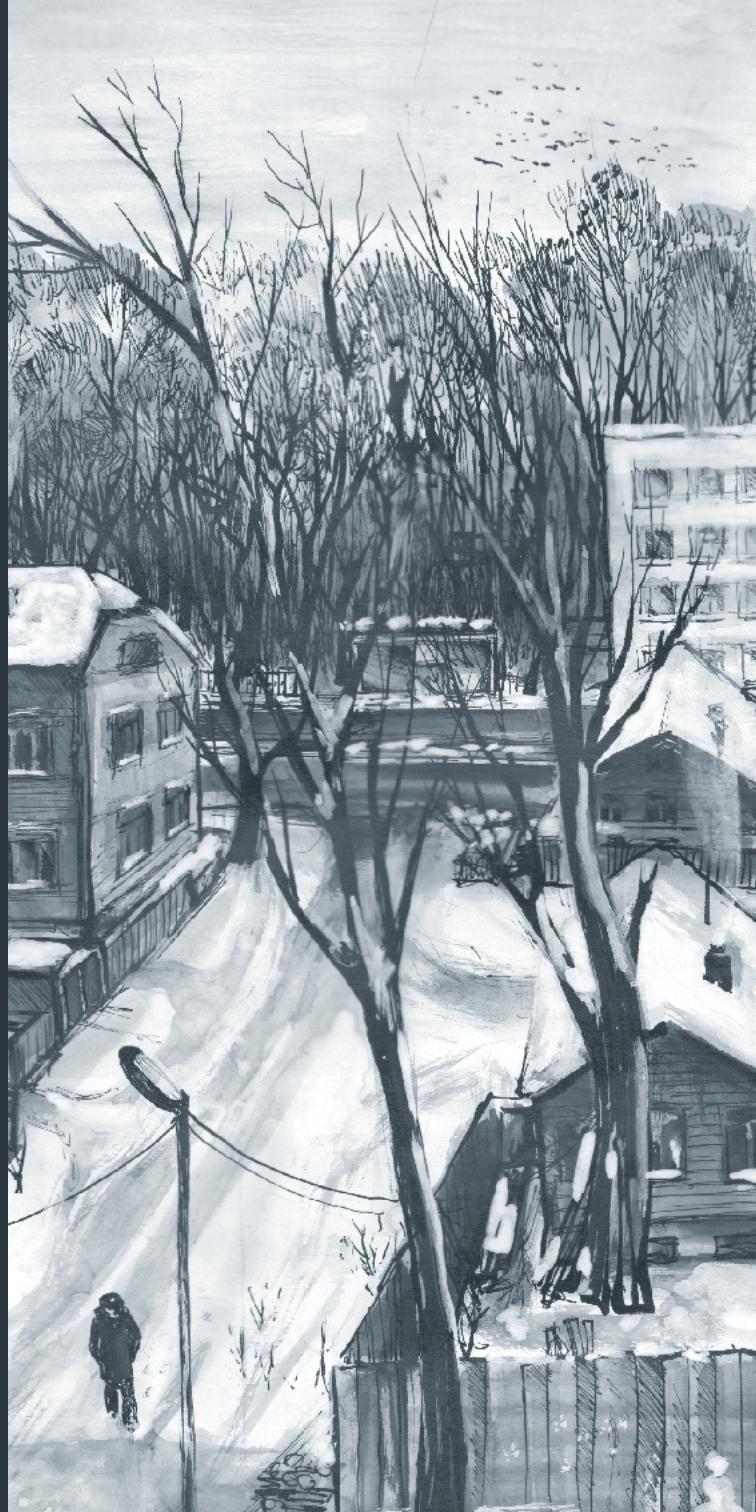


ИГОРЬ
ЧУРДАЛЁВ

ПОЛЁТ
ВОРОНЫ
НАД
ОКОЙ





Игорь Чурдалёв

ПОЛЁТ
ВОРОНЫ
НАД ОКОЙ

Нижний Новгород
2021

УДК 82-1
ББК 84(2+411.2)6-5
Ч 93

Автор Игорь Чурдалёв ©
Авторы-составители Владимир Безденежных
Елена Степасюк

В 2020 году Игоря Чурдалёва не стало. И этот сборник – итог его творчества.

Как настоящий художник Чурдалёв выразил не только себя, но и свою эпоху. Его поэзия – это поэзия мыслителя и философа, смыслы её необъятны. В ней он абсолютный профессионал, его мастерство остро, как хирургический скальпель. В стихах Чурдалёва спрессовано всё: и сокровенно-личное, трепетное, щемящее; и глобальное, вселенское, вневременное. Они обжигают предельным, отчаянным, яростным накалом и поражают поэтическим бесстрашием. Чурдалёв имел мужество принять мир таким, каков он есть, и выстоять один на один с ним, вооружившись свободой и силой мысли.

Ч 93 Поэт мирового масштаба Игорь Чурдалёв нежно любил родные нижегородские места. Во многих его стихах узнаваемы нижегородские реалии. Об этом же говорят и названия: «Берега Светлояра», «Метро Горьковская», «Полёт вороны над Окой», «Над Большой Покровской дождь повис»... В космогонии поэта наш край занимает особое место. И Чурдалёв достойно представляет Нижегородский край в пространстве мирового поэтического искусства.

Редакция благодарит за помощь в создании книги Олега Вениаминовича Лавричева.

ББК 84(2+411.2)6-5



ISBN 978-5-6041566-4-3

Ч 93 © Игорь Чурдалёв
© Издательство Гущина Елена Николаевна, 2021
© Гущин А. Н., 2021

ПОСЛЕДНИЙ КУЗНЕЧИК

Оба помним дорогу по волнам жнивья,
этот сон, уводящий в глухие края.
Чуть заметна на жёлтой стерне колея.
И кончается эта дорога
у безвестной речушки, ныряющей в лес
сквозь траву без тропы, ибо путников здесь
только двое, а это немного.

Но, пока мы опоры друг другу даем,
без труда перейдём эту речку вдвоём,
где расчерчен пунктиром стрекоз водоём,
где кувшинок душистая поросль.
Мир, который построен в моей голове,
распадается поровну надвое, две
половины бессмысленны порознь.

Дай мне руку – и мы образуем чету
пересекших рубеж, преступивших черту,
мы чужие по сторону эту и ту,
где нас не было, нет и не надо –
и никто нас не встретит у райских ворот,
кроме наших собак, убежавших вперёд,
на разведку эдемского сада.

Так прощается август – и как ни моли,
но вагоны его исчезают вдаль,
так летят и трепещут мгновенья мои –
как стрекозы над руслами речек.
Мир, который построен в моей голове,
зарастает высокой травой. И в траве
веселится последний кузнечик.

*Посвящается
моей жене Алле*

БИОГРАФИЯ

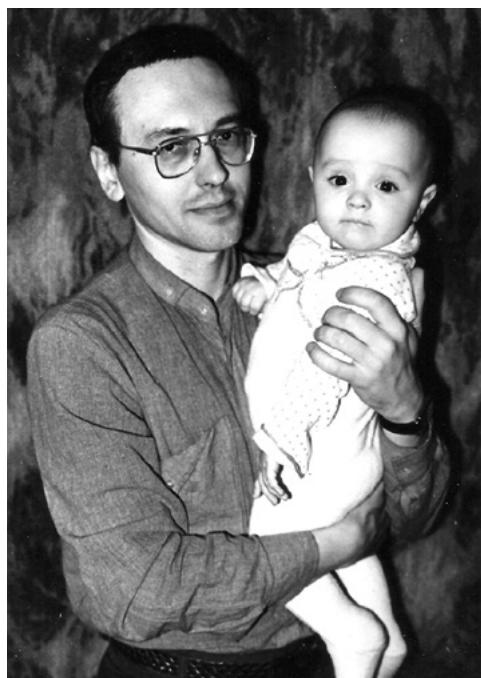
Игорь Валентинович Чурдалёв родился 21 июля 1952 года в Севастополе, в семье военного моряка-подводника. После того как отца перевели служить на Крайний Север, родители отправили Игоря к бабушке в Нижний Новгород (тогда Горький). Бабушка, Галина Сергеевна Мусихина, дворянка, дочь бывшего арзамасского полицмейстера, в 1917 году, будучи 14-летней девочкой, осталась без семьи и была вынуждена скрывать своё происхождение. В 1937–1938 годах, чтобы спасти от репрессий себя и маленькую дочь, уехала жить в глухую деревню в Горьковской области и преподавала в местной школе. Позже стала заслуженной учительницей РСФСР.

По словам Игоря Чурдалёва, именно от бабушки и её сверстниц, которые «застали свет Серебряного века»¹, он унаследовал главное достояние их эпохи – её язык и культуру.

После школы Чурдалёв поступил в Горьковский университет им. Н. И. Лобачевского на филологический факультет, но проучился недолго. По распоряжению КГБ он был исключён из вуза и отправлен в армию. Служба проходила в особо тяжёлых условиях, в стройбате в Сибири, с жестокими издевательствами военных чинов. О произошедшем сам Чурдалёв в одном из интервью сказал: «Мальчиком я тяжело переживал ту социальную несправедливость, которую наблюдал, да и по юности сам вёл себя далеко не идеальным образом. Мне практически инкриминировали создание антисоветской



Игорь Чурдалёв с бабушкой Галиной Сергеевной Мусихиной, 1959 год.



С дочерью Галиной, 1988 год.

организации, хотя это были детские игры – никакой организации не было...».¹

Вернувшись после армии в Горький и окончив университет, в 70–80-х годах Чурдалёв работал матросом, водолазом, монтажником кабельных линий связи, механиком по ремонту пишущих машинок, резчиком деревянных фигур для городских дворов, художником-конструктором, дизайнером металлических пряжек на заводе.

Публиковал стихи в местной прессе, в сборниках молодых поэтов и журнале «Юность». В 1983 году поэт выпускает свой первый поэтический сборник «Ключ». В 1987 году выходит новая книга стихов «Железный проспект». В 1988 году Чурдалёв становится членом Союза писателей СССР.

Не соглашаясь с идеологическими требованиями и атмосферой официального Союза писателей, в середине 80-х создал альтернативное молодёжное поэтическое объединение «Марафон». Оно успешно работало до середины 1992 года. Поэтические вечера «марафонцев», где органично сочетались джаз, рок и поэзия, пользовались большим успехом. На одном из таких вечеров читал свои стихи Давид Самойлов; на другом – Андрей Дементьев. «Созданный им «Марафон» был... попыткой выправить глубокую деформацию и дисбаланс, сложившиеся внутри литературного процесса – отечественного в целом и нижегородского в частности».² «Марафон» помог сформироваться целому поколению нижегородской поэзии – Марина Кулакова, Михаил Воловик, Александр Чесников, Виталий Гольнев, Евгений Эрастов, Игорь



Презентация книги «Нет времени», 2002 год.



В рабочем кабинете, 1992 год.

Грач, Аркадий Сигал, Дмитрий Токман, Евгений Супрун, Вячеслав Баранов, Андрей Баутин, Алексей Андреев.

В это же время Чурдалёв вместе с друзьями Андреем Баутиным и Михаилом Кониковым организовал легендарный клуб «Триклиний». По его же собственному рассказу, он снял за бесценок мансарду в одном из старых домов и совместно с друзьями превратил это место в некое подобие салона с двумя роялями и бильярдом. Здесь собиралась культурная элита, выступали поэты, рок-музыканты. Гостями «Триклиния» были Андрей Макаревич, Александр Башлачёв, участники группы «Несчастный случай», Виктор Коркия, Игорь Иртеньев, Сергей Гандлевский, Дмитрий Пригов, Юрий Арабов.

«Триклиний» просуществовал пять лет, «он работал напряжённее любого Дома культуры».¹

В конце 80-х Игорь участвует в литературном и общественно-политическом движении «Апрель», после раскола Союза писателей СССР вступает в Союз российских писателей.

В девяностые годы Игорь Чурдалёв занимался бизнесом, был директором Нижегородского творческого фонда «Речь», советником по культуре первого губернатора Нижегородской области Бориса Немцова и советником вице-губернатора по вопросам промышленной пропаганды при втором губернаторе Иване Складове.

Последние 25 лет жизни наряду с поэзией он посвятил тележурналистике – организовал телестудию «Горький НН» и создал ряд знаковых авторских программ.

ПОЭЗИЯ

Стихам Чурдалёва присущи кинематографичность изображения, философская глубина, острая социальность и взрывной лиризм.

«Поэт должен отпечатать личность на глине эпохи», – сказал он в одном из интервью. Этот отпечаток и был точкой сборки, центром поэтической вселенной Чурдалёва. «...Игорь ... точно определял болевые точки любого временного отрезка – от мига до эпохи. Иногда создавалось впечатление, что он парит над ней – такого масштаба было его поэтическое видение. Но это не было отстранённостью. Это было максимальной слитностью с происходящим, циркулирующий эритроцита в кровеносной системе истории».³ Идентификация себя как личности в пространстве мировой истории и культуры – одна из главных тем поэтического творчества Игоря Чурдалёва.

«Жизнь Игоря в последние 10 лет была жизнью философа, поэта и отшельника, он размышление и спокойствие возвёл в творческий абсолют. Эта медитативная позиция была им занята после смелой и отчаянной, как у всех – со времён Достоевского – русских мальчигов, попытки художественной революции, духовного переворота, поэтического Сопrotивления. Игорь не гнался за публикациями, не стремился к премиям, не клал жизнь на издание своих книг. Хотя он был великолепным, много всего драгоценного знающим поэтом... Постепенно, шаг за шагом он вынул себя из утомительного социума, становящегося всё хаотичнее, рынoчнее, холоднее».⁴



С супругой Аллой и дочерью Галиной в Исландии, 2019 год.

ПУБЛИЦИСТИКА

Игорь Чурдалёв был истинным патриотом. Каких бы острых политических или экономических вопросов ни касалась его публицистика, глубинное его отношение к родине оставалось неизменным: «Вес тёмной истории на её ногах, её душа – великие имена, её движение – глобальные потрясения».

Шагнув в постсоветскую эпоху человеком зрелым, духовно и творчески сформировавшимся, Чурдалёв относился к постперестроечным реалиям с большими надеждами, что не исключало некоторой настороженности. «Я до сих пор пьян свободой, у меня чувство человека, освободившегося из тюрьмы. Пора привыкнуть, но не могу. И боюсь лозунгов – мысль, которая становится лозунгом, перестаёт быть мыслью», – говорил поэт в одном из своих интервью тех лет.⁵ Он всегда имел насущную потребность и бесстрашие мыслить. Десятки острых публицистических статей и блестящих эссе Игоря Чурдалёва опубликованы на сайте

«Свободная Пресса в НН», с которым он сотрудничал.

Двадцать пять последних лет Игорь Чурдалёв много занимался телепублицистикой, создав в нижегородском эфире ряд знаковых авторских программ: «Без галстука», «Узел», «Земля людей». Свободомыслие и независимая позиция периодически создавали Чурдалёву проблемы и в телевизионном пространстве. Так, на некоторое время он был отлучён от телеэфира за выпуск программы с Гарри Каспаровым. Особый интерес писателя всегда был направлен к сфере «реального труда» – нижегородским промышленным и научным предприятиям, которые в условиях жесточайшего давления внешних обстоятельств различной природы сохраняли уникальные производства, специалистов и учёных высочайшего класса, тем самым давая надежду на возрождение нижегородской индустрии – мощной, высоконаучной, передовой в мировом масштабе.

ИСТОЧНИКИ

1. Дмитрий Ларионов. Игорь Чурдалёв: «Поэт должен отпечатать личность на глине эпохи». Свободная Пресса – Нижний Новгород (13 июня 2014).
2. Маленький трактат о любви. В поисках лучших мест. www.tockman.ru.
3. Поэзия.ру – Холодова Светлана – Глаз циклона. poezia.ru.
4. Игорь Чурдалёв: Новая жизнь. Журнал Клаузура.
5. Игорь Альтшулер – личный сайт – Игорь Чурдалёв. altshuler.ru.



Галина Чурдалёва,
дочь.

О ПАПЕ

Папа никогда не был образцовым семьянином. Помимо острого аналитического ума, потрясающей эрудиции и глубокого литературного и художественного таланта у папы были большие нервы и легко уязвимое самолюбие.

В детстве он казался мне абсолютно блестящим во всех отношениях человеком, который знал про мир вокруг меня больше и лучше всех. Зачастую так оно и было.

Папа много в меня вложил: говорил со мной часами о литературе, истории, философии, политике, учил рисовать и стрелять из лука.

В старости он был умиротворённым отшельником, спокойным и порядком уставшим от жизненной суеты.

В свои четыре года я написала ему корявое послание на клочке бумаги: «Папочка, я хочу, чтобы ты возвращался». Он носил его в паспорте до самой смерти и действительно всегда возвращался ко мне. Придёт время, и я вернусь к нему.

ЧЕЛОВЕК ГЛУБОКОГО СМЫСЛА

С творчеством Игоря Чурдалёва я познакомился в конце 70-х годов XX века, когда был активистом молодёжной среды и бывал на его творческих вечерах. Стихи в исполнении автора произвели на меня глубокое впечатление, оставили зарубку на сердце. Позже мы с Игорем познакомились лично по тележурналистской деятельности, я работал на заводе «Термаль», он снимал передачу о предприятии, и я оценил его талант в новом амплуа. Когда встал вопрос, кому доверить съёмки фильма уже к своему юбилею, не раздумывая пригласил Игоря.

С благодарностью и трепетом вспоминаю редкие, но душевные домашние встречи, общение с Игорем. У него однозначно был свой, зачастую альтернативный взгляд на вещи, жизнь, обстоятельства. В его стихах кроме красивых поэтических форм имеется глубокий жизненный, философский смысл.

Игорь никогда не ассоциировал себя с действующей властью. Помню, что он говорил: «Я всегда в оппозиции. Сегодня власть коммунистов – я против них. Завтра будет власть буржуазии – буду против этой власти». Таково было его жизненное кредо. Несмотря на то, что я являюсь как раз представителем власти, мы с Игорем ладили, нас незримо связывали какие-то ниточки. Он коллекционировал складные ножи, я имею страсть к холодному оружию, потому, наверное, и реализовал свои спортивные устремления в мастерстве



Олег Лавричев,
председатель Думы города Нижнего
Новгорода, председатель
совета директоров АО «АПЗ».

фехтования, а сейчас развиваю этот мушкетёрский вид спорта в регионе. И в Игоре всегда чувствовал что-то мушкетёрское: элегантность, благородство, аристократизм, вместе с тем дерзость, упрямство, непокорный дух. Сближало нас и обострённое, порой даже болезненное чувство справедливости.

Игорь прожил насыщенную событиями и наполненную глубоким смыслом жизнь. Его поэтический капитал должен быть донесён до людей, в первую очередь земляков, подрастающего поколения. В этом особая ценность: данная книга – вклад в сохранение культурного наследия Нижегородчины.



Захар Прилепин,
российский политический
деятель, писатель, филолог,
публицист. Лауреат премии
Правительства Российской
Федерации в области культуры.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРИЯТЕЛЬСТВА

Игорь Чурдалёв вёл себя как мушкетёр. Он был похож на всех четверых мушкетёров.

Склонность Атоса к чуть мрачным, но всегда трезвым – невзирая на выпитое – размышлениям. Склонность Арамиса к лирическим приключениям и умение быть благодарным благосклонной судьбе. Спокойное добродушие Портоса. И фехтовальная дерзость Дартаньяна.

В сущности, мы должны были оказаться врагами лет тридцать назад.

Чурдалёв Игорь был категорическим, бешеным, безудержным антисоветчиком. Я был юн, мне было 14, 15, 16, 17 лет – и я всё время видел его по нижегородскому телевидению. Кажется, у него была какая-то своя программа. И он рассказывал, как он ненавидел советскую власть, как желает ей никогда более не возвращаться и сгореть в аду.

Я советскую власть любил, в числе многого прочего мне нравился статус советского поэта в Советском Союзе – я мечтал стать советским поэтом с 9 лет.

Игорь Чурдалёв успел стать советским поэтом, выпустив в СССР две поэтические книжки, и заработав какое-никакое – между прочим, вполне себе заметное – имя.

Тогда, в момент торжества обрушившейся демократии, предполагалось, что новое время

откроет новые горизонты – но оно лишь закрывало их.

Думаю, в те дни Игорь Чурдалёв считал схлопывающиеся надежды явлением временным.

Но это было постоянное явление, увы.

В 1991-м я поступил на филфак. Филфак был на площади Минина – а Союз писателей располагался в двух минутах ходьбы отсюда. Я уже писал стихи и мечтал их показать кому-то.

Хотя вру – не кому-то, а вот именно ему. Я знал его стихи и считал его мастером.

Однажды я набрался смелости и позвонил Игорю Чурдалёву. У меня был повод для этого. Дело в том, что Игорь Чурдалёв служил в армии вместе с моим родным дядей – братом моей матери – Виктором Николаевичем Нисифоровым. Однажды в армии отправленный в наряд срочник Чурдалёв начал замерзать и, отходя уже в мир иной, вырубился, заснул на морозе. Его извлёк с того света дядя Витя, мой дядька – набил по щекам, растряс, пробудил, притащил в казарму, оживил, реанимировал, вернул с того света.

Чурдалёв помнил про это всю жизнь и однажды по телевизору про это рассказал. С дядей они с армии не виделись. Дядя слышал это выступление Чурдалёва и был растроган: вот же ведь, помнит добро.

Короче, я позвонил Чурдалёву на домашний (мне нашли телефон) и сказал, что я племянник того самого Нисифорова и ещё я пишу

стихи. Чурдалёв сказал: приходите в Союз писателей, приносите тексты.

Я пришёл в Союз. У Чурдалёва там был свой кабинет, он экспрессивно разговаривал с кем-то за дверью. Я посидел минут десять, или пятнадцать, или двадцать – и снедаемый волнением, не дождавшись финала беседы, ушёл.

Я слишком его уважал. Я посчитал, что это глупо с моей стороны – отнимать его время.

И больше не вернулся.

Я окончил свой университет, потом долго бродил по миру и вернулся к Игорю Чурдалёву уже молодым писателем, вчерашним омонументом, человеком тридцати лет. Мы познакомились и стали дружить.

Его антисоветский пыл, кажется, немного поугас к тому времени, – он, по крайней мере, легко мне прощал моё левачество, моё нацбольство, мою привычку ходить по улицам и площадям с красным флагом; кроме всего прочего он совершенно не был похож на традиционного демократа той поры – пацифиста и рыночника. Напротив, он болел за русских во всех военных конфликтах той поры – кавказских, закавказских, каких угодно, а правозащитную либеральную накипь едко презирал. Кроме всего прочего он делал тогда телевизионные программы о заводах и фабриках – думаю, наблюдаемое им крушение советского производства тоже подталкивало Чурдалёва к некоторым выводам.

Впрочем, мы этого не обсуждали.

Я вообще не помню, что именно мы обсуж-

дали – так, обменивались мнениями. Разве что я отметил тогда, что Чурдалёв терпеть не мог так называемых «бардов» – это меня по-хорошему позабавило: я тоже не слишком любил эту эстетику, отдавая предпочтением холодным профессионалам стиха, не пытающимся компенсировать отсутствие или минимум мастерства вот этим вот треньк-бреньк и как бы душевным подвыванием.

Чурдалёв в поэзии был безусловным профессионалом, скальпельным.

Ему не были свойственны зримые эмоциональные перепады и вообще ложная певучесть, паразитирование на чувственных темах, нарочитая музыкальность, восклицания, вздыхания.

Он, будто бы вдавливая беспощадное перо в мякоть бумаги, безупречно вёл свою мысль. Он, конечно же, был мыслитель, он был философ.

Но за внешней его холодностью, чуть сдобренной фирменной чурдалёвской ироничностью (никогда не обращавшейся в сарказм, а отсюда в частое для наших дней своеобразное поэтическое человеконенавистничество) скрывалось огромное, мучительное, страстное напряжение.

Ему было очень больно.

Он шёл напрямик на боль.

Преодолевал её и благодарил за опыт.

Он так и не пожаловался на обретенные надежды.

Последний раз мы виделись на презентации антологии нижегородской поэзии; я её

составил; и Чурдалёв там, в антологии, был лучшим, конечно же.

Он пришёл на презентацию – главный, по сути, гость – в хлам пьяный; пытался читать с экрана айфона, едва добредая от строки к строке.

Меня этонисколько не обидело.

Он единственный из всех собравшихся имел на это право.

Он же был настоящим поэтом. Ещё бы он трезвый пришёл! Он всю жизнь был трезвым. Сколько ещё можно.

Чурдалёв вытягивал в поэзии любую сложнейшую мысль.

Он не искал простых рисунков, не занимался наскальной живописью, не шёл на поводу у читателей.

Он будто бы заранее знал: всё, что ему нужно, это сохранить свою мушкетёрскую свободу: 20 лет спустя, 10 лет спустя, спустя жизнь.

Сохранил.

Политические же его взгляды в этом смысле никакого значения не имеют. Никогда не имели.

Имеет значение только его предельная и умная честность.

И чувство христианской благодарности всему существу, которое он мог бы растратить очень давно – но сберёг и не растратил.

Потому что Игорь Чурдалёв был настоящий русский поэт. Почти старообразный в своей верности призванию.

Как же дорога, как важна, как душещепательна эта верность.

ТЕКУЩЕЕ

МОРСКОЕ ТЕЧЕНИЕ

Бог мне был явлен морем – во время оно,
в коем, объятый водами, как Иона,
не утрашась глубины и бурливой пены,
я, малышом, с пирса ловил селёдок,
вздрагивая от лая подводных лодок,
борт отца узнавал по хрипотце сирены
и улетаю сердечком навстречу судну.

Бог мне был явлен морем – кругом, повсюду.
Может быть, в море выйти затем и надо,
чтобы понять: если мелочь не застит взгляда,
то горизонт предстаёт бесконечным кругом,
а не чертой, разлучающей север с югом.
Всё, чем раскрашен глобус, сейчас забудьте.
Между морями Баренцевым и Чёрным
скрыты проливы, неведомые учёным –
и субмарина всплыла в Балаклавской бухте.

Там и поныне полощутся наши флаги –
лучше уж в листригоны, чем в лотофаги...
Там и поныне под крыльями чаек белых
спит мой отец, зарыт в каменистый берег.
Он завещал мне кортик, бинокль от Цейса,
звенья из стали отечественного ГОСТа,
жесткий хребет, в котором согнуть не просто
семь поколений русского офицерства.

В этом есть всё, что стоит нести с собою –
море, до края наполненное любовью
непреходящей, немеркнущая отвага,
камень в тени скорбного кипариса,
слово, не истлевающее, как бумага –
твёрже гвоздя, на котором клинок Улисса
над изголовьем юноши Телемаха.

Знаю течение и помощней Гольфстрима –
вряд ли стремнина эта остановима.
Но – не в обиду аду и райским кущам –
я бы остался в море, вечно текущем
мимо эпох докучных, времени мимо,
не «до», не «после» – вне нашей и вашей эры,
где я качаюсь, древнее жрецов Кибелы,
голый, меж скал, в прибое, как в колыбели,
в ритме Гомера, с бутылкой местной мадеры.



БОЛЬШОЙ БЛЮЗ

Когда бы я умел играть на саксофоне,
я нанялся б на белый пароход,
который возит по морю туристов
вдоль солнечных и пряных берегов.

Представьте:
отоспавшись днем под гул
машины
и под переплески зыбей,
я вешаю ярмо свое на шею –
шнурок с никелированным крючком –
отличием завязтого джамена.

Бреду наверх, где ресторанный тент
уже провис под голубою ношей
томительнейших сумерек морских.

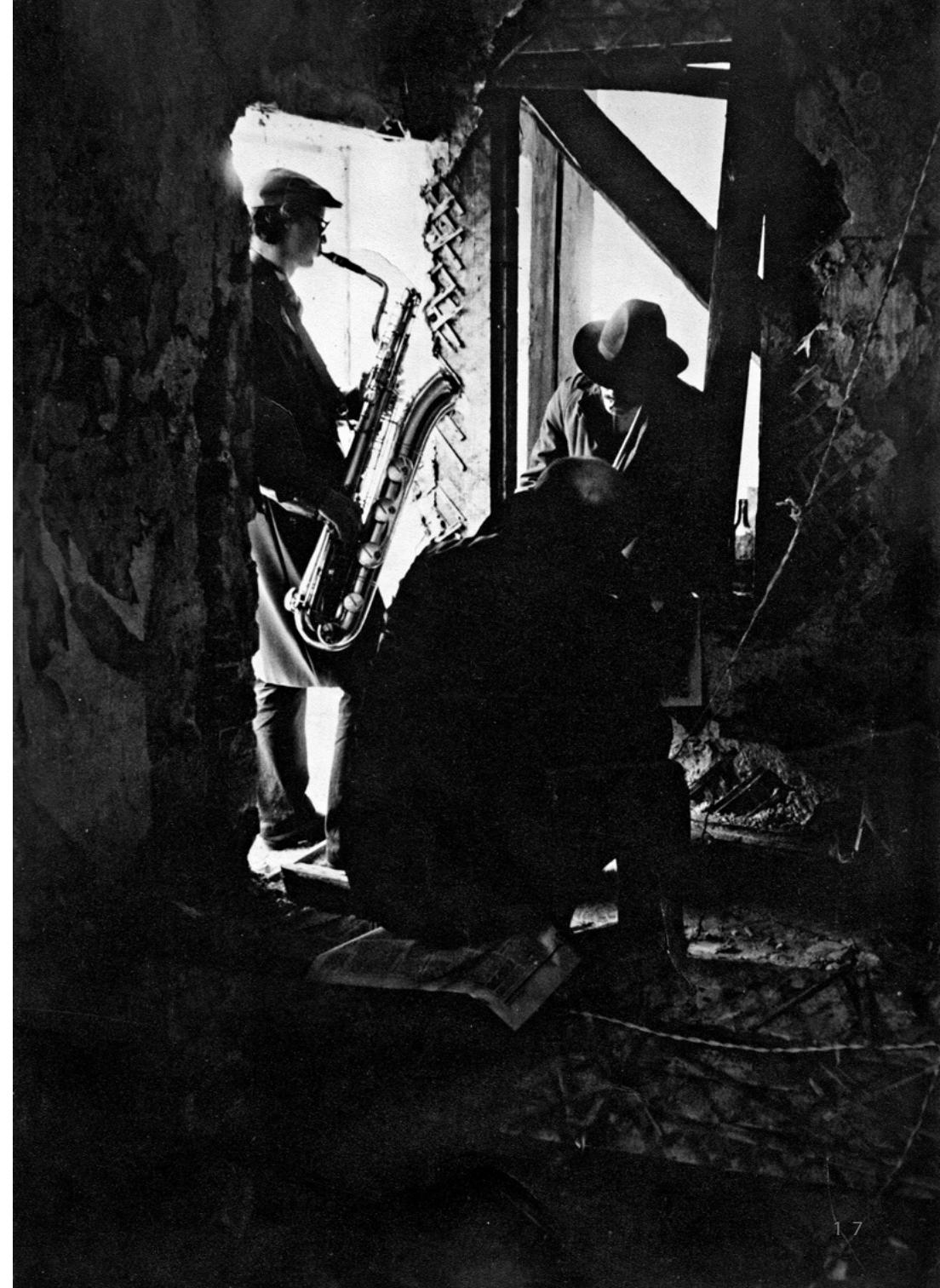
Открыточно-шашлычный колорит:
дымок мангала тает за кормою,
официанты шелестят рублями,
и чайки, обожравшись, отстают
и пропадают в белопенном шлейфе –
но горестные крики всё звучат,
всё длятся, всё тревожат...

Кто я есть, подобно птицам получая хлеб
за сотрясенье воздуха пустое?

Я раскрываю жаркий раструб клюва –
и в путь, вдогонку плакальщицам-чайкам,
за взмахом взмах или за звуком звук,
зажав мундштук в мозолистых губах
и выдувая пузыри печали
холодного и чистого стекла.

За мигом миг или за годом год –
но час пробьет:
ведь случай вечно жаждет –
в порту случайном
вечером случайным
одна или со спутником случайным
на палубу та женщина взойдет,
которой ради, словно ради Бога,
сбираю я на паперти судьбы.

Игорь ЧУРДАЛЁВ
с друзьями,
г. Нижний
Новгород,
начало
1990-х годов.



О, как он прихотлив, изгиб трубы,
в котором звук скрывается до срока!

Схвачу за глотку звонкую змею,
измучаю десятком пальцев ловких
и выдохну в нее всю жизнь свою,
всю темноту, накопленную в легких,
все, что словами высказать боюсь,
все, что назвать не смею от незнания...

И только знаю – это будет блюз,
большой и не имеющий названия,
как этот гулкий купол надо мной
и над тобой – и надо всеми нами,
заверченными ярмаркой земной,
минутными пестрящей именами,
где я трублю –
как шут из шапито,
мне вторят дрессированные птицы –
трублю всю жизнь, ушедшую на то,
чтоб встретиться, обняться и проститься.

Я выдохнусь.
Меня прикончит боль,
что хлынет горлом на казенный смокинг.
Но даже лабух раз в столетье – Бог.
Мой блюз звучит. И он вовек не смолкнет.

Прощай же, глупый белый пароход.
Пора на берег – подавайте сходни!
Мой саксофон валяется на дне.
Мечтаньям тоже свойственна усталость...

А все же интересно, что бы случилось,
когда бы я умел играть на саксофоне,
как музыка – на мне?



Творческий тандем
Васильев/Чурдалёв:
музыкально –
поэтические
композиции.
youtu.be/_IAE8sAYUYj0

ПСАЛОМ

Крыша поехала! К ужасу моему
скоро и стенам этим идти на слом...
Я – лишь провал, проем в непростую тьму,
полную прошлым счастьем, забвеньем, сном.

Дайте привыкнуть зрению, как в кино:
в пламени тихом –
так выгорает спирт –
люди видны, погашенные давно,
словно и дом не пуст и окно не спит.

Здесь мы играли наш поднадзорный джаз,
по кирпичу разрушающий подлый плен.
С обыском прибыли, подзадержась на час –
и – никого. Запустенье. Руины. Тлен.

Против «макарова» ставлю свой арбалет:
в башне ночами – стон и бряцанье лат.
Замок без привидения – это бред,
сказки для участковых, товарный склад.

Так, понемногу, мы одолели роль
призраков... Но,
шарахаясь от икон,
аппликатуры зубрили, снимая «в ноль»
тему псалма для нищих – «Иерихон».

Крыша – в пути, скоро очередь стен.
Лабух играет коду, то бишь – отбой.
Если крушить себя – только вместе с тем,
что запрещало музыке быть с тобой.

Здесь по сольфеджио не задают задач,
на пустыре свободы, где испокон
каждый – сам себе крепость и сам трубач.
Иерихон грядущий,
Иерихон.



Творческий тандем
Васильев/Чурдалёв:
музыкально –
поэтические
композиции.
youtu.be/_ONXukaHP14

РОК

Пришла пора для похорон старья
Мир музыкою новою расколот.
Всё только начинается!
А я уже сутул, одышлив и немолод.

Натужные динамики хрипят,
колючие лучи шныряют в зале –
и вот юнцы выходят и кричат
все то, что мы когда-то прошептали.

Пой мальчик, пой.
Ты угадал свой срок.
Твоя гитара – словно лошадь в мыле.
Над нами тяготел тяжелый рок
еще в совсем ином, исконном смысле.

Пой мальчик так, чтоб шел от сцены зной,
чтоб музыка, сжигая, побеждала.
Но нёс ли ты сквозь ливень затяжной
горящий уголь для её пожара?

Пой мальчик, пой,
давая петуха,
паясничая в судорогах бравады,
пой сгоряча, наотмашь пой, пока
в твоих молочных легких хватит правды.
Наяривай! –
«электропоп», «металл» –
пляши хоть на ушах, раз это в моде.

И не взыщи, что я на стул не встал
и не пошел приплясывать в проходе.
Но я с тобой!
Мы – вместе! Жги, ори,
пусть даже с пеньем и несообразно,
пой, плача, задыхаясь –
но не ври.
Иначе – я, и ты, и всё напрасно.

ТЕКУЩЕЕ

1

У толпы вовек –
ни имени, ни отчества.
В этом крошечке, где все не имениты,
я оттачивал искусство одиночества
о шершавые вокзальные граниты.

Лет не помнил, дней не чтил,
транжиря мелочь их.
И, никем вступая в сумрачную осень
мира алчущих, имущих и умеющих,
пусть же буду я хоть в чем-то виртуозен.

Одиночки толщам толп не сдались на фиг.
Но, быть может, пригодится этот навык,
там, где Некто вопрошает. И Ему
всем ответствовать –
но всем по одному.

2

Бросив кучу дел докучных –
не такой уж я и старый,
чтобы шить себе дела –
шлялся я в кастальских куцах:
это душный серпентарий.
Но сойдёт забавы для.

Что почём там, понял быстро –
не Спиноза, но не овощ,
и рассудка не лишён.
Из пустого любопытства
заглянул в глаза чудовищ,
скрипку бросил и ушёл.

3

Речью проявлено будущее – годами
перетекая в сбывшееся для каждого.
Есть ли и буду ли – поводы для гаданий.
Был, это точно. Выверено. Доказано.

Так времена языка обнимают сущее,
передавая потомку заветы старшего.
Будущему из бывшего – сквозь текущее,
быстро несущее лодочку настоящего.

СКЛАДЕНЬ

1

Назло приземлённым бедам
к зениту мечтой стремись –
и сам вознесёшься следом
в попытках возвысить мысль.

Оттуда, из сфер эфира,
увидишь сквозь брешь в раю
всю низость
и лживость мира.
А может быть, и свою.

2

Вытяни сети
и перечти свой улов.

Выросли дети,
перегорела любовь.
И, как река, обмелела страна понемногу.
На берегах её прежних друзей не видать.

В сущности, более не за что жизни отдать –
лишь потому она и возвращается Богу.

3

Сам выбрал путь и сам к итогу шёл –
к чему ж пенять на времена и нравы.
А те, кто души вывели в офшор,
всегда, конечно, оставались правы.

Для этих только смерть была истицей.
И ради них, как и века назад,
на правой створке разместится ад –
последний шанс для крупных инвестиций.

ПЕСНЯ О РОДИНЕ

Что же смолкли вы, певцы России?
Или нынче гимны вам не впрок?
Родины, вменяемой насильно,
больше нет. А мир – как был широк.

Веси, города, просторы, выси –
всё при нём. И у его ворот
преет в ожиданье льготной визы
профессиональный патриот.

Он готов сменить трактовку роли.
С навыком нигде не пропадёшь.
Сладких зёрен много в каждом поле.
Птичий свист в любой листве хорош.

Но вернуться стоит к общим темам,
их и лить на мельницу молвы.
Родина же стала частным делом.
Делом личной чести и любви.

ОДЕРЖИМЫЙ

Нынче не разобрать,
что внизу, что сверху.
И невесть какое над нами знамя.
Я уже и не знаю, во что я верю.
И уже не верю
в то, что я знаю.
Но живу в чьем-то теле, как бес вселенный.
Это тело натягивает одеяло
и мечтает проснуться в иной вселенной.
Впрочем, с ним и такое уже бывало.
От него отступаются экзорцисты.
Их страшит помыкающий этим телом –
чтоб внезапно расстаться с ним
в поле чистом,
под дождем прицельным,
как под обстрелом.

По уставам
нам вечно ходить в мишенях.
Остается из недр домовин дубовых
позавидовать женщинам,
как в траншеях,
с головами скрывающимся в любовях.
Там у них надёжнее, чем в спецхране.
И молитвы их не в укор усладам –
то ли в капище,
то ли в Божьем храме.
Жаль, что я аллергии боюсь на ладан.
А снаружи хлещет, снаружи свищет.
И гремит,
резонируя всем простором –
там, где молнии золотом бархат вышит
облаченья небесного,
под которым,
словно кукла, движимая пружиной,
не внимая жизни, не чуя боли,
без дороги шествует одержимый.
И все дальше и дальше уходит в поле.

WELCOME!

Понабьются – у дома не выйти.
Попритиснут – и охнуть нельзя.
Понаехали...
Ну так – живите.
Всё равно ведь пустеет земля.
Но ещё сохраняет свой навык
быть на всех бесконечно одной,
орды жёлтых, раскосых, чернявых,
превращая в один перегной.

Волку волк здесь бывал человеком,
позабыв, где азиец, где скиф,
где неведомо кто...
Так что – welcome! –
мы и сами невесть из каких.
Нет проблем – между нами не пропасть,
все на шарике ветхом – родня.
Оформляется в русские пропуск
всем и каждому с этого дня.
Без особых препон –
даже прежде,
чем, склоняя к угрюмству и сну,
вас научат любить без надежды.
Водку. Женщину. Бога. Страну.
Знать ожог января её злого.
И жевать её снег поутру.
И катать её жёсткое слово,
словно маленький камень во рту.

В эту бездну кто только ни канет –
много раньше, чем через века,
безнадёжно всплакнёт африканец
над судьбою её ямщика.
Степь безбрежна – и некуда деться...

Но спасёт её Бог, может быть,
лишь за то, что любить без надежды –
только это и значит – любить.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ПРОСПЕКТ

Крещёному гарью в кирпичной купели,
клейменому пламенем доменных пекл,
исчадию труб, скороходу панели,
мне был колыбелью Железный проспект.

Там отчие окна светились ночами,
мерцая на чёрт-те каком этаже,
и ребра строителей напротив торчали,
пейзаж образуя во вкусе Леже.

Я вызубрил там все двory проходные,
где жили крутого замеса друзья,
такие, что щерились вслед им блатные,
но предпочитали пройти не дразня.

Мы в местный ДК залетали под вечер,
и вновь рокотал нам Железный проспект
на всех барабанах – и был обеспечен
у девочек стильных железный успех!

Серийных подруг отштампывал город:
их лица в одно совместились лицо,
как в парке деревья, названий которых
мы сроду не знали: деревья – и все.

Но счастье сбывалось, хоть редко, да метко,
судьба выходила, как зверь на ловца.
Везучая доля, слепая рулетка –
скрежещущий круг городского кольца!

Гудели над нами контактные сети,
под нами – артерий подземки узлы.
Взошли мы в полях излучений – не дети,
но внуки убитой гудроном земли.

И пусть не звездой, отраженною в плёсах,
а искрою электросварки сгорю.
«Вторая природа» – сказал бы философ.
«Любимая Родина» – я говорю.

Когда я к истоку вернусь виновато,
опять окажусь в этом гулком дворе,
где детские губы оставил когда-то,
целуя железо своё в декабре.

Игорь Чурдалёв
"Возвращение"
1982



СКОЛЬКО МОЖНО...

Сколько можно пустое тереть,
соплеменности строя основу...
Наша родина – речь, а не твердь.
Мы родня не по крови – по Слову.

И, какой бы разлад ни настал
Между нами, покуда молчали –
Слово свяжет прочнее, чем сталь.
Потому и стояло в начале.

2012

То проспят, то накладка с каретой,
то не подняты в срок якоря –
здесь не ждут пробужденья столетий
при оказии календаря.
То в указе ошиблись с печатью,
то светлейший спешит на балет.
Здесь века забывают начаться
на тягучую дюжину лет.

Здесь нежданна зима испокон – и
трансформация в сани телег.
Пьян смотритель, все тройки в разгоне.
И – как в обморок – падает снег.
Путь сперва только взгляд пролагает
из-под заиндевелого лба.
Запрягает ямщик, запрягает.
А уж там – как раскинет судьба.

Но возница не жертвует песней,
что мила окаянной душе.
Кнут его перед смутною бездной
не дрожит и не медлит уже –
может быть, и к добру, в самом деле,
что за рябью ничтожных невзгод
мы не видим сквозь перья метели,
как вздымается век, а не год.



ЛЕВША

Я от рождения левша.
Наклонена во мне душа.
Расположилась, как хотела –
налево, к сердцу тяготела.

Ее спрямляли – ни черта.
Опять на старое сносило.
О, скольких умников бесила
души моей неправота.

Дразнили. Рос очкаст и худ.
Левша, заика и с прыщами...
Пришлось поставить левый хук
для объяснения с правшами.

Неравноправье рук смешно.
Но дело глубже оказалось –
оно души моей касалось,
что выше оговорено.

Теперь не выправишь судьбу.
Не то чтоб я такой упрямый,
но руку левую в гробу
пускай положат сверху правой.

Пока же все ко мне добры –
уродство всё-таки сказалось.
Не беспокоят до поры,
пока блоха не расковалась.

ВАСИЛИСК

За прежнюю ярость, а равно
за злое потворство судьбе,
в душе так смеркается рано
и холодно, как в декабре.

Но где-то, в щелях её мрачных,
огарком, сокрытым в горсти,
всё теплится радостный мальчик,
не старше чем лет десяти.
Бежит он, колосья колышет
в зелёном июньском дыму.
И нежная Родина дышит
в затылок пушистый ему.
Плутая меж ласковых сосен,
он ловит в рубашку ежей
и к бабушке хвастаться носит...

А всё же порою уже,
пугая заботливых близких,
лицом омертвеет на миг –
и вспыхнут зрачки василиска
сквозь слёзы, застывшие в них.

КАЗАНКА

О, среднерусские наши досуги!
Пьяных купцов разудалые струги –
с песней –
по нижним, казаням, самарам,
в лодках с цыганами и самоваром...

Каюсь – и с нами такое бывало.
Встретимся в куцах прибрежных бульвара,
купим вина в ресторане ночном,
вызвоним девочек, праздник начнем.
В честь достославных былых приключений
гонку затеем над Волгой вечерней,
врубим моторы своих катеров,
срежем для барышень розу ветров!



Пусть полюбуются – кто мы такие:
темень распорота бритвою кия,
пишем – пропало,
выигрыш в уме –
«Вихрь», как безумный, ревет на корме.
Вечная жизнь никому не дается.
Нам уцелеть – так и так – не придётся.
Бешеный мальчик припаян к рулю.
Девочка в ужасе шепчет: «Люблю».

Снова едва не расшиблись – умора!
Пьяный поэт, развалясь у мотора,
традиционной охвачен тоской:
кто мы такие? и кто я такой? –
в этой стране, непонятной, великой,
в этой ночи, непроглядной и дикой,
в мире, парящем меж звезд на весу,
в утлой «казанке», летящей вовсю...

Дрыхнет поэт, привалившийся к борту,
скоро поэтам вставать на работу.
Черти скребутся о днище внизу.
Воет железо на полном газу.
Тёмные воды лодчонка пронзает.
Кто в ней такие – наука не знает.
Если узнает – какая же скука
встретит насквозь изучивших друг друга!

Жмите ж, ребята, чтоб кровь не прокисла.
Смысл бытия – шире здравого смысла.
Пусть, кто пойти убоится на дно,
кушает сливки и ходит в кино.

ЗЕМЛЯ МАЛА, БЕЗМЕРНА ПОЛНОЧЬ...

Земля мала, безмерна полночь.
Живое стелется в персти.
А выше – неодошевленность
и гулкий ужас пустоты.

Но даже там, среди потёмок,
верша бессмысленный полёт,
какой-то сгусток иль обломок,
косневший вечность напролёт,

вдруг вспыхнет, не успев проститься,
как сумасшедшая звезда,
среди вселенского бесстыдства
сгорающая со стыда.

БАЮН

В безвестности, в провинции, в уделе,
где местные куражились князьки,
я прозябал – и утопал в метели.
И погибал от водки и тоски.

Лукавили пророки, лгали книги.
Я жарким лбом протаивал окно –
там снег валил, тяжелый, как вериги,
и жизнь вертелась, как веретено.

Толпа мелькала в галунах и рвани,
спеша с морозцу по домам – и спать.
Шуты кривлялись. Дьяки воровали.
И воровали снова. И опять.

Холопы гнулись. Баре жрали яства.
Опричники – всегда навеселе.
Проклятие холопства и боярства
по-прежнему лежало на земле.

Но что с того – все были сыты вроде
благоволеньем облеченных лиц.
Одни юроды выли о свободе
на папертях да около больниц.

Я, видимо, являл их разновидность,
но тихую – и всё, что надо мне,
кидал на флешку, выходя из Windows.
И файлы перелистывал во сне.

Кончался свет. И темный мир просторный,
приоткрываясь, приглашал войти.
Лишь старый кот мой, зверь потусторонний,
мерцал зрачками на моем пути.

... а дальше сами сказку разумейте,
когда баюн вам понесёт враньё –
как женщина спасла меня от смерти.
Как я за это погубил её.

КАНАВА

Народ – по умолчанию – в беде.
А ты – по умолчанию – с народом.
Опять очнулись неизвестно где.
Канава, тьма... И крест нательный продан.

Стань горько трезв в похмельных этих днях,
рассудок проясни, забудь вино и
не слишком-то брызжи на молодняк,
сосущий вымя времени пивное.

Остынь, старик. Припомни-ка себя,
когда ты был ещё пацан реальный,
когда Союз Мошонки и Серпа
свой молот пропивал индустриальный.

И ты был в доле у ларьков страны,
в строю которой числился рабочим –
и клёшами душевной ширины
сметал, шатаясь, прах её с обочин.

И ты пивал до чёртиков. И ты
певал про Воркуту и палки-ёлки,
пока полупрозрачные менты
вели тебя к ночлегу на клеёнке.

Братан, ты дома – это твой дурдом,
и ты не занял в долг у психиатра
своё вчера, прикрытое стыдом,
и страхом искалеченное завтра.

Тебя корят завистники – и пусть.
Гульбанил на свои, а значит – вправо.
Теперь трезвей. И тужься вспомнить путь,
ведущий к пробуждению в канаве.

КУДРЯВАЯ

Кудрявая, вставай и одевайся –
бужу её касаньем губ к плечу.

Страна встаёт – и верещат девайсы:

– Молчи, молчи!

И я молчу, молчу.

Здесь слово разобрать – напрасно тшиться.

А общий гвалт нелеп, как хор ослов.

Таксисты, официанты, продавщицы
знакомы мне –

и ловят все без слов.

Как жернов, молчалив, но не опасен,
поскольку шкворень сквозь него продет,
молчу, молчу.

Но, если что, согласен.

А с чем – об этом скажет Президент.

Кудрявая, вставай.

Мы отметились.

Да будет путь опять наш прям, как лом.

Ты снова обретёшь монуметальность
и вновь предстанешь девушкой с веслом.

Тебе трубит походы май зелёный.

А мне синицу немоты в горсти
нести вослед любви неразделённой,
оставшим по обочине брести –
мы разным тропам судьбы посвятили,
я эту знал подробнее всего.

Как говорили древние витии,

suum cuique – каждому своё.

Ты знала путь свой к самости и мощи.

Я, как умел, давал тебе угля.

Кудрявая, обнимемся же молча,
одним дыханьем правду говоря.

Ступай теперь.

Но при известном фарте
возможно, в жизни будущей, иной
мы встретимся в какой-нибудь фиальте,
у моря – разумеется, весной.

МЕДВЕДИЦА

Безродные, галдя оравой всей,
но врозь – делясь по стаям или кастам,
скользили над поверхностью вещей,
не слыша, как под ноздреватым настом,
в берлоге, в мерзлоте, в густой ночи,
покоящей исчезнувшие страны,
Империя, погибшая почти
скуля во сне, зализывала раны.

Мы время отлагали на потом,
когда она очнётся с громом рёва
и распрямится, проломив хребтом
непрочные напластованья крова.
И дрогнет мир. И пошатнётся быт,
поставленный устойчиво, как плаха.
И мы шагнём в поля грядущих битв,
зайдась – кто от восторга, кто от страха.

Увидим грудь четвёртого в ряду –
в равнении на стяги ратей грозных
кто братство обретёт, а кто вражду,
кто единенье, кто проклятье розни.
Но каждый, кто в шеренги эти встал,
пощады не найдёт, вступая в область,
где ясно проявляются, как встарь,
природа зверя, человека образ.

К ВОЙНЕ

Мы жили без большой войны?
Не факт.
Она ползла, гибридная и кибер.
Война была когда-то как инфаркт,
теперь она как застарелый триппер.
Всё катится, по-разному кроша
людей –
но так и так в суглинках спать им.
Кому досталась пуля «калаша»,
кому цирроз.
А кто-то просто спятил.

Кто дух, пиндос, москаль, хохол и жид,
ведет разборки мир, гнилой и шаткий.
И надо как-то в ненависти жить,
уча детей, как выхлопом, дышать ей.
В её полях –
ни фронта, ни побед,
а только смерть, предательство, угроза.
И злую ложь швыряет в топку бес,
гоня к обрыву тушу паровоза.

А ты – смотри.
Запоминай. Молчи,
вскрывая смысл,
как землю – лемех плуга,
пока в продажных шоу трепачи
пытаются переорать друг друга.
Пускай вопят и бредят в кураже,
когда их зритель, заперевшись дома,
изжогу гасит пивом – и уже,
как избавленья, ждёт Армагеддона.
Настанет время,
позже, не сейчас –
он вспрынет и отправится в дорогу
к тем, кто его учили не прощать.
И, в общем, научили понемногу.

ПОЛИТИКА

Расслабься, комментатор чепухи,
врубай футбол и репортаж с пожара.
Политикам отпущены грехи –
ввиду исчезновения их жанра.

С героями, запаянными в цинк,
с вождями, преисполненными пыла,
политика уехала, как цирк,
а клоунов на площади забыла.

Теперь уже не надо пуль и бомб.
На поле анонсированной битвы
коверные стратеги – Бим и Бом –
кривляются, в карманах пряча бритвы.

Отныне – как знамёна ни раскрась,
и сколько бы дискуссия ни длилась,
как равенство возможностей украсть
трактуют на майданах справедливость.

Досужая и сытая толпа
взыскует зрелищ, ибо хлеб ей пресен,
и дразнит власть, расправу торопя.
Но за державной ширмой – пыль и плесень.

Горлань, базар! А я себе пойду
от скоморохов, мерзких, словно вывих.
Мне так и так уже гореть в аду,
в ряду высокомерных и брезгливых.



ТЫСЯЧЕЛЕНИЕ

Не шапкой ли оземь, не гой ли еси,
не славно ль я гуливал в Первопрестольной
под тысячелетье крещеной Руси,
под гуд колокольный,
под хруст малосольный.
И думал, итожа грехи по ночам:
Бог веры не дал – не в купели ж топиться.
Зело аз учен
и не верю речам
не токмо мессии, но и летописца.
Пришли да приставили к рёбрам ножи,
в затылок шепча чернецу-грамотею:
«Вот здесь соскреби, а сюда запиши...»

За веру радели. Потом – за идею.
Под корень срывали.
Сметали с земли –
во имя! –
и новые сваи забили.
Потом повзрывали. Потом возвели –
во имя! – как бишь его...
Имя забыли.

Нам в тысячный раз наступает каюк.
Нам не привыкать – переправлены гимны
и новые бесы сбиваются в круг
для лая о власти
одних над другими.
Строчи, переписчик, покорствуй ножу
и тысячу раз перемарывай снова.
Не верю – покуда перстов не вложу
в отверстые язвы ожившего Слова.
От правдоподобий в пустыню бегу.
Не верю –
и здесь искушение то же.
И те же поля. И березы в снегу
все те же. И так на Россию похоже.

ПО МНЕНИЮ ВИТИЙ...

По мнению витий, на речи ярых,
страна моя виновна навсегда,
пока её земля, её вода,
её просторы в непомерных даях
и свод над ними –
ей принадлежат,
как будто бы столетия назад
все это нам досталось как подарок.

Но, чуть встревожишь
пласт подземной тьмы –
любое поле выстлано костями,
которые его крепят, питают
над прахом землепашцев и солдат.

И, кто готов дороже цену дать
за это поле – пусть судьбу пытается.

ГЕРОИЧЕСКОЕ

Герой всегда своей эпохе в масть –
герои потому отныне живы,
что славу обретают, не стремясь
рекордов ради рвать в забое жилы.

Герой на баррикаде не погиб,
когда массовка, жажда жизни лучшей,
одних воров меняла на других
под хитрый гвалт гламурных революций.

Но под шумок он прикупил завод –
теперь он гость георгиевских залов.
То недорослей на митинги зовёт,
то блещет в шоу метросексуалов.

Он шествует – и льнёт подручных гнус
к его прикиду пафосного кроя.
Когда-нибудь в анналах Daily News
опишет летописец путь героя.

Уводит его торная тропа
в мираж на горизонте золотистом –
туда, куда пойдёт за ним толпа,
как стадо крыс
за гамельнским флейтистом.

CANCER

Пределы самомнения ограничь –
песчинка ты, другой песчинки слепок,
вмонтирован в огромный организм
из триллионов столь же малых клеток.

Они – среда. Бульон или рассол.
Они – статисты непомерной сцены.
Таким не объясняет режиссер
ни фабулы, ни замысла, ни цели.

Они вершат вслепую жизни круг,
и суть его для них – святая тайна,
которой покрывает демиург
конечный смысл их сосуществованья,
их мир, где каждый заточён в себе –
и каждый дань неведомому платит,
покуда клетка, прочих послабей,
от собственной ничтожности не спятит.

Она теперь лишь внутрь себя глядит –
в напрасных спорах не ломает копий,
а тихо начинает городить
ряды своих лишённых смысла копий.
Они плодятся тупо, словно скот,
и каждая – безверия осколок.

Такими их и видит в микроскоп
надмирный, но беспомощный онколог.

РУССКИЙ МОДЕРН

В особняке темнота обретает форму
бреда – и смуты, гибельной и разгульной.
Выстрелом выбив каменный глаз грифону,
пьяный матрос по душам говорит с гаргульей.

Плачет повстанец – и как бы кивает демон.
«Что, страховидная, тоже ты контра, что ли?
Ишь, как тебя мировой капитал уделал.
Но не замай, и тебе теперь вдоволь воли».

Время к суконному переходить веселью –
на драпировочных бархатах, плюшах, фетрах,
там, где братва разберётся сейчас с мамзелью
так же по-братски, как с тем, что найдёт в буфетах.

Душный декор отражается в липких лужах
водки, мочи и залившей паркету крови.
И разминает освобождённый ужас
ржавые крылья на псевдогоthicной кровле.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ МАРШ

Привычный жить и делать на раз-два,
не под варганы, но под лязг и стуки,
я был рожден вдали от Рождества –
в пространстве, и во времени, и в духе.

И малышом, ловя шумок молвы,
обмолвки и присловья бабы Нади,
я мыслил, что волхвы есть род халвы,
а ясли – цех в родильном комбинате.

Но ставят ёлку – я притих и жду,
что утром отыщу под ней машинку
и револьвер. Кремлёвскую звезду
воздел отец на колкую вершинку...

Мир за секретом раскрывал секрет,
я прозревал, превозмогая дикость.
Но сердце опоздали мне согреть
Благая Весть, и Андерсен, и Диккенс.

А ум лукав. Он ловок лишь понять.
Понять, но не поверить – мало толку.
Кого бы ни случилось распинать,
пьём белую да молимся на ёлку.

А что ж не выпить в праздники? И что ж
не побродить с нетрезвой и недружной
родной толпой – как будто впрямь Христос
скользит пред нею поступью надвьюжной.

Как будто есть пред кем на лёд упасть
и плача – хоть от снега или ветра –
просить в ночи:
– Господь, помилуй нас,
не знающих рождественского света.



ОХОТНИКИ НА СНЕГУ

Как умирала молодость во мне!

На дыбе выла, корчилась в огне,
под временем, как роща под пилой,
вопила... Смертью медленной и злой,
нелёгкой смертью умирала. Ей
еще хотелось наверстать, допить,
переиграть, себя переkreить,
переиграть –
но ярче и острее –
всю музыку бессмысленных, прекрасных,
зеленых лет в дождинках майских дней,
весь гул и гомон сил преступно-праздных.

Она металась, бедная, в жару,
вдруг затевала жалкую игру
и бредила, бодрясь, в смешной надежде,
что страсть и свежесть
в ней кипят, как прежде...
Но, обессилев, никла вновь к одру.

И оголились ветви на ветру,
пожаром кратким вспыхнув напоследок.
И пульс пропал...
А ветер нес пургу,
как на подушке, расправляя слепок
агонии на скомканном снегу.

Аукнулось и стихло эхо боли.
Горячая спала пелена –
и стала жизнь других людей видна,
душе, собою занятой дотолё.
Живящий холод в легкие проник.
И я, очнувшись, поднял воротник,
поёжился и оглядел окрестность.

Деревья цепенели. Наст блестел
и утопал в дали, терявшей резкость.
Но там, где оттеняла синева
метелью нежной выбеленный берег,
щемящие, как их увидел Брейгель,
людей фигурки двигались едва...

Я побежал – постоите, я сейчас! –
за ними, к ним – я не один на свете! –
сквозь лес и холод, напрямик решаюсь,
барахтаясь в снегу, ломая ветви,
глотаю слёзы...

Но уже не смерти,
а только одиночества страшась.

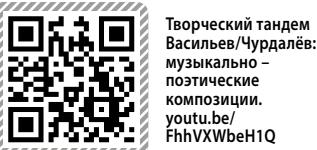
УБЫВАЮТ МОИ ДЕКАБРИ...

Убывают мои декабри.
Океаном арктической тени
уплывают их корабли
с парусами из грубой метели.

Ни души в тех морозных морях.
Только ветер, дыханию чуждый.
Только мёртвые птицы парят
на крылах, очарованных стужей.

Мне покуда туда не пора.
Но страшиться скитальца не стану.
Двери дома в декабрь отворя,
«Заходи!» – говорю капитану.

Потолкуем – как жизнь коротка,
до утра поведем свои речи,
выпьём холода по два глотка
и простимся надолго –
до встречи.



Творческий тандем
Васильев/Чурдалёв:
музыкально –
поэтические
композиции.
[youtu.be/
FhhVXWbeH1Q](https://youtu.be/FhhVXWbeH1Q)

СЕЛФИ

Всякий балбес у нас исстари молодец.
Юные скалолазы и скалолазки
лезли и прежде на кручи с ведерком краски
мир замарать известью, что были здесь.
Мокрые осени смыли их письма.
Нынче – не то.
Мы сохранней в сети, чем в сейфе.
Я приобрел на сдачу палку для селфи.
Более свет не останется без меня.



Смертному слава желаннее бранных благ.
Как в инстаграмах кривляющиеся дебилы,
крикну в колодец времени:
– Мы здесь были!
Господи, снизойди к нам. Поставь нам лайк.
Да, мы здесь были – и убыли.
Но ведь были,
пусть пред Тобою лишь ипостасью пыли –
помилосердствуй и не держи за чернь.
Вот я с женой.
Вот с дочерью.
Вот я соло.
Помельтешу на странице и сгину скоро.
Не задавай беспощадный вопрос – зачем.

Прячется солнце за выпуклым краем мира,
вечер венчая, как митрополита митра.
Вряд ли мы здесь уместны, пятная фон,
пялящие на роскошь земли смартфон.
Это досадно, право.
Но, как ни злитесь,
лишь красота умеряет печаль и пыл.
Вдруг и Создателю нужен случайный зритель,
чтобы в пути отметить: «Я здесь был».

ПОСРЕДИ

Посреди, в середине.
Откуда края не видны.
В толчее. В тесноте – не в обиде, хотя
одинок.

Так плыву я по стрежню
широкой и дикой страны,
уносимый безумной стремниной
людского потока.

Не имея фигуры, как новый поручик Кижэ,
не замечен судьбой
сквозь кромешные спины и плечи.

И ни ордер, ни орден меня не отыщут уже
в сердцевине толпы,
в средоточье клокочущей речи.

Не брался с низами,
но и не шустрил по верхам –
там такая же гниль,
если станем судить по плодам их.

Кто ты есть, возлежащий на облаке –
хан ли, пахан –
я не знаю тебя
и сказать не умею при дамах,
где видал канцелярий малины, и банки, и нефть,
вертухаев твоих, что тотчас за спиной моей
встали.

Я ушел в этот гомон,
меня уже, собственно, нет.
Догоняй же теперь слов моих перелётные стаи.

КОНЕЦ ОБОРОНЫ

Шла война.
Её чугунный топот
сотрясал непрочный свод земли.
Пропадал мой ясный Севастополь.
Транспорты последние ушли.
Всё. Кранты, как говорят на флоте.

Но,
уже не значась среди живых,
оставались в полумёртвом доте
двое неубитых рядовых.
И когда иуда через рупор
начинал угрюмо говорить:
– город сдан... обороняться глупо... –
двое успевали покурить.

После окончания обороны
можно затаиться не спеша,
аккуратно поделить патроны,
снаряжая диски ППШ...
Обнялись. И вышли из укрытья.
И пошли, разя огнем с плеча –
в наступленье,
две кровавых нити
за собой по гальке волоча.

То была недолгая атака
на последнем, смертном рубеже.
Но скупые выстрелы однако,
обороной не были уже.
Алые вперед тянулись нити
и вплетались в непомерный стяг,
под которым в колотом граните
скорчился обугленный Рейхстаг,
чтобы море вновь светло и ровно
билось о родные берега,
где кончалась наша оборона
к ужасу и гибели врага.

ПРЕДАТЕЛЬ

Очень трудно убивать руссов.
Да и брался за это не каждый.
Кто пытался, будь и сам не из трусов,
ничего уже о том не расскажет.
Не хотят идти на бойню покорно.
Кто не верит – сможет выяснить позже.
На блокбастер под пиво с поп-корном
это точно не будет похоже.
Пусть их тел в полях уже груды,
кто посёк их – тотчас сам же покойник.

Но по льготному тарифу Иуды
я открою, как с ними покончить.
В простоте они поверят и бреду,
остальное уже сделают сами.
Отнимите у руссов Победу,
убедите оплевать её знамя.
Объясните им, что больше не надо
бремя памяти таскать за плечами –
и пойдут они под нож, точно стадо,
под недружное тупое мычанье.

Ничего больше нету за ними –
настучу супостатам, как дятел.
Выдам, чем они были хранимы,
пусть за это и умру, как предатель.

ОКОПНАЯ

Этих чахлах окопов на карте нет,
из штабов они не видны.
Мой герой – не герой, он не знал побед,
не над ним сверкал фейерверков свет,
знаменуя провал войны.

Но под натиском неодолимой лжи,
не признав пораженья, он
отводил на последние рубежи
обороны в глубоком тылу души,
свой потрёпанный батальон.

Там стволов и бинтов и воды – в обрез.
Иссякает боезапас –
и казалось, что он уже вышел весь.
Но каратель, идя на зачистку в лес,
небо видел в последний раз.

Победители, вам не дойти сюда –
эта падь для вас глубока.
Крутовата для вас этих скал гряда –
потому что жидка ваших жил вода,
потому что – кишка тонка!

Здесь надгробье над славой любой – сугроб.
Здесь – откуда невесть – судьба
чужаку перекрестьем пятнает лоб.
Потому что всякий из нас – окоп
там, в глуши самого себя.

ПЬЯНОК МНОГО, А ПРАЗДНИКОВ МАЛО...

Пьянок много, а праздников мало.
Те, что были – померкли в грязи.
Только этот – Девятое Мая –
остается кристальной слезы.

Мимо зарев казённого шоу
к обелиску придёшь сквозь тщету –
и покажется, что за душою
нечто большее, чем на счету.

Словно мир не под гнётом недуга
и еще не угасло родство
с мощью той, что не власти, но духа
утвердила в бою торжество,

с исчезающими в алых потоках,
не страшась в пыль Отечества лечь
ради чести – своей и потомков,
не сумевших её уберечь.

ЖАР

1

В тесной каптёрке
среди мировой глухомани
жили мы с другом на пару когда-то.
Было нам по девятнадцать.
Крутила зима
снегом, сухим, как песок,
и окрестные сопки
словно дымились.

Мы возвращались с обхода
трассы, варили свои макароны,
причём вдоволь имелось у нас
маргарина, томата и соли.
Жить было можно.
Вот только ночами
в нашей дощатой хибарке
бывало довольно свежо –
бочка из-под солярки,
служившая печкой,
тепло не особо держала.

Мы обложили её камнями. Две
самые крупные глыбы (еле допёрли!)
на ночь решили калить паяльными лампами,
пару которых оставили нам шофера.

Я их заправил и вышел на волю – разжечь.
Небо уже индевело от звёзд. Далеко
двигалась искорка спутника.
Тихо на свете.

Точно двуглавый Горыныч,
мощные лампы плевались сперва
огненной жёлтой слюной, горячились, шипели.
Но постепенно их языки заострились и поглубели,
словно меняя поспешную злобу
на деловитый накал боевого азарта.

Вернулся в каптёрку,
направил свирепые сопла на глыбы.
Друга тихо окликнул: – Юра! –
а он уже спит. Как мы легко засыпали тогда...
Я загасил коптилку и лёг.
Печка гудит. Лампы гудят. Тело гудит.
Тепло...
Дьявольски тихо на свете – и только гуденье
яростных ламп, озаряющих ветхие стены.

Тогда и пришло наважденье:
слышу, как сквозь гуденье
пробивается музыка,
кажется, множество скрипок,
может – штук сто.
Среди безответной ночи
всё явственнее, всё чётче...
– Юра! – я вскрикнул – Юра!
Юра вскочил:
– Что?

Он долго, добросовестно вслушивался.
Потом потрогал мой лоб хмуро.
– Похоже, брат, у тебя температура,
сейчас найду аспирин и подкину дров...

Стыдись, я покорно давился таблетками,
хотя – уверен! – был совершенно здоров.

2

К следующей ночи заюлила низкая вьюга.
Я разжег лампы – и уже не будил друга.
Гулу пламени вторил теперь ещё вой снаружи,
словно эхо тоскующей и беспредельной стужи.

Тая дрожь, я лежал впотьмах навзничь.
Смотрел на слабый отблеск огня –
или звука?
И пришла музыка, сначала чуть внятно,
из глубины такой, что представить жутко.
Сперва запели осатанелые лампы.
За ними – камни, ящички, нары, стены,
все снега окрест, все хвойные лапы...
И метель взметнулась кулисой гигантской сцены.
И зажглись над фанерной кровлей огни рампы.
Но этим смычкам было и неба мало –
они брали выше, сметая звёздную наледь.
Я клянусь,
это было музыкой без обмана,
такой музыкой, какой она должна быть.

Был в ней простор любому чистому звуку
и могучая мощь ещё небывалого лада.
И всё, что мы ещё не умеем сказать друг другу,
а сказать уже надо, надо, надо, надо,
потому что среди скрежета, лязга, стука
очень трудно без этой музыки жить дальше.
Потому что жизнь не такая плевая штука,
чтобы не замечать в ней даже малейшей фальши.

А прибор всё рос – и валы, набирая скорость,
разбивались с ходу о крохотный остров мира,
на котором все мы так малы и ничтожны порознь,
точно мелкая галька в клочьях гнилого ила.
Если б даже случилось чудо –
я смог бы вспомнить
этот рокот невысказанный, вихри его теченья,
никакой паганини не смог бы его исполнить.
Нужно, чтобы играли все в мире,
без исключения.

... Это кончилось разом, как будто обрезали провод.
Лишь зудела метель, неотступно и тупо, как овод.
И насупились стены, как будто вовеки не пели.
И чумазные лампы, погаснув, остынуть успели.



3

С тех пор прошло почти пятнадцать лет.
Почти сложилась жизнь. Её костры
пылали в основном на пикниках,
под благодатным небом летних странствий.
Её огни на двести двадцать вольт
сверкали над бессонницей моей,
плясали чехардой светодиодов
в магнитофонных лаковых табло.

Всё было в общем ярко и светло.
Как будто бы и музыки хватало,
вращающей блестящий хоровод
в свечении холодного накала.
Но жар пропал.
А просто звука – мало.
И звук, признаюсь, был уже не тот.

Прости мне, друг, что писем не писал.
Всё в суете, похожей на вокзал,
с намереньем: «Доеду, уж оттуда...»
Никто ещё доселе не прислал
оттуда ни полслова.

Что ж до чуда
мелодии, услышанной в огне –
тогда и впрямь нам приходилось круто:
мы вкальвали, мёрзли...
Пусть вполне
всё объяснят усталость и простуда.
Ведь память наша вправду – решето:
остался день, который крупно прожит.
А музыки и не было, быть может.
Но я её узнал бы, если что.



Игорь Чурдалёв (слева) – солдат-срочник в Сибири, 1971 год.

ПЛИТА

*«И вступая в долину смертной тени,
не убоюсь я зла, ибо Ты со мной...»*

Псалом XXII

В ржавой империи,
рухнувшей с высоты,
жившей единой заповедью –
«склонись!»,
в мёртвых пространствах, где сожжены
мосты,
где оборвался след её колесниц,
где мы в строю болтали,
сквозь страх дерзя,
там, под обвалом
забывших события дат,
вы навсегда остались, мои друзья,
не захотевшие молодость покидать,
так и не ставшие,
чем вам велели быть,
канувшие в безумье – или запой,
доблестно павшие среди бесславных битв
или иначе покончившие с собой.

Добрых путей вам в новых мирах, друзья.
В каждом созвездии будет вас ждать приют –
пусть вас усадят, грешных, под образа,
сладко накормят и до краёв нальют,
как наливали в давешние года,
в небе которых тех же галактик взвесь
переливалась пламенем.
Как тогда,
там и обнимемся некогда.
Но не здесь.

Вас не оплачет мраморная Пьета,
не назовёт золотая в граните вязь.
Вот же вам –
окаменевшей мечты плита,
глыба надежды, не пережившей вас.

Вы обрели,
что искали, в персти земной,
пылью теперь кружа на семи ветрах.
Вот же вам – суть свободы.
И нет иной.

Бог не расслышит меня,
но за этот прах
я помолился бы, если бы знал псалмы.
Смертной долиной всем суждено пройти –
пусть же в дороге не убоюсь я тьмы,
помня, чьи тени движутся впереди.

SIC TRANSIT

Метелью нежной полон белый свет.
Гуляет снег-шатун, то глух то гулок.
И я тону в нём, умный, как совет
теплее одеваться для прогулок.
Что мудрость?
Лишь аванс небытия,
предвестница мигрени и склероза.

Сугроб вскипает пеной для бритья,
смягчая встречу с бритвами мороза.
Грехи покрыл, нелепости простил.
Минувшее истоптано, как рынок –
но след простыл.
И целый свет простыл,
пьет аспирин и прячется в перинах.

Пройдет метель, затем осядет наст.
Потом истают снежные пустыни.
Sic transit –
так проходит, чтобы пасть
с обрыва лет вослед седой латыни.
Там некто средь архивной тишины
солидный фолиант переплетает,
где миги постатейно учтены,
где лист не вянет и сугроб не тает.

Там есть и я –
в метельном январе
застыл на полушаге, полувздохе,
внимательный, как муха в янтаре
навекі остановленной эпохи.

ПОП

Я прежде мыслил жизнь как бой, и пир,
и как простор для счастья и несчастья.
Тогда я лучше был – и больше был.
А после постепенно уменьшался.
Но разве лёгкий лет полёт – недуг?
Года, возможно, всех к тому ведут,
жаль, много их растрчено на праздность.
Как вешний лёд, истаивает дух,
но с этим обретает и прозрачность,
хрустальность, подобающую льду.

Так что не пригибай себя к стыду –
расслабься, согреси, опять верши,
служеньем не насилуя природу.
Да впрямь ли свят, кто не отвлѣк души
ни на день наслаждениям в угоду,
как поп заштатный, служащий в глуши
лишь Богу, но не чину и доходу.

Вот он бредет в метели – старичок,
в заштопанной и молю битой рясе.
Беспомощный за ним влачится черт,
незрим обычно – с перепою разве.
Нектар из брюквы гонят на селе.
Священник порицает эту шалость,
хоть и ему подносят... но сие
на небеси и ангелы вкушают.
Вдовец давно, он не торчит как перст,
сам-друг с Христом в своем домишке старом,
спеша венчать, крестить, потом отпеть,
порой за харч, а чаще и задаром,
приговорен по тревам сквозь пургу
упрямо ковылять обочин возле.

Но тень его всё тоньше на снегу,
бледнее всё... И вдруг растает вовсе.
А дел ещё – хоть век не умирай.
Да он и не умрет – погаснет просто,
как слабый свет впотьмах. И целый край
впадѣт в тоску, в убожество, в сиротство.

БЕРЕГА СВЕТЛОЯРА

Издавна чаща глухая кругом стояла,
уберегая от взглядов чудесный блеск –
слезы Господни в кратере Светлояра,
озера,
некогда рухнувшего с небес.
И все чисты в зеркале горние лики,
только по берегам его
оседает муть –
богоискатели,
юродствующие фрики,
дачники, хиппи, служители праздных муз.
Спит, безответна, озера гладь немая,
кто бы в смятении духа к ней ни приник –
Китеж не столь сокрыт от батыев-мамаев,
сколько от них.
Днем здесь купались, кушали, загорали.
К ночи в обход со свечками –
и назад.



Тем и кончался вечный поиск Грааля:
можно его найти, да нельзя узнать.
Глянут –
и по фольксвагенам, по тойотам,
прочь от диковин, в насиженные места.
Озера суть пребудет же потаённа,
а потому чиста.
Много харчей на небесной воде сварили.
Хоть и ещё косяками века пройдут,
явится чудо – растащат на сувениры,
кружки, наклейки, майки –
и продадут.
Пусть не орда,
так свои же устроят кипиш,
видеокамеры пагубней топора.
Не восставай же пока из пучины, Китеж.
Не пора.

ПАСТОРАЛЬ

Пасутся танков тучные стада
в долине, изобильной муравою.
И зоркий беспилотник иногда
черкнет над ними линией кривою.
А выше приземленная строфа
не достигает – с гулом еле слышным
там воспаряют горние ПАК ФА
и спутники беседуют с Всевышним.
Не мельтеша досужую толпой,
лежат поля. И дремлет снайпер даже,
пока в блиндаж неспешною стопой
не побредет пейзажник в камуфляже –
но вдруг падёт, как будто сон сморил.
Валькирии слетают, легкокрылы.

Певец, чей гений столь же легкокрыл,
на тризне расчехляет гаджет лиры.
Дисплей встревожит нежною рукой –
и метроном затикает, как мина.
Он воспоеет не битву, но покой,
неколебимость и недвижность мира.
Естественно, мутируют стада.
Свистят порой то пуля, то осколок.
Но зла кругом не больше, чем всегда,
со времени классических буколик.
Все так же прозябают, чуть дрожа,
трава, и твари, и листва, и ветки.
И никуда не двинулась душа,
хотя и трепетала в человеке.
Покой царит. В клепсидре каплет кровь
размеренно, дробя века в моменты.
Но время монолитно – и голов
отрезанных не больше и не меньше.
Протяжна песнь в немолчной тишине,
длинна, как нескончаемая пряжа.
И ты, дурак, поющий на холме,
бессмертен тоже – как деталь пейзажа.

РАЙЦЕНТР

С гудрона не подъять пяты –
кроссовки будто бы по пуду.
Герой не ведаёт пути,
но ловит все-таки попутку.
Он путает,
где миф, где плоть,
где звук живой, где только буква,
и тихо утекает прочь
из сериалов и фейсбука.
Он помнит старый свой рецепт –
когда тоска достанет очень,
рвануть
в какой-нибудь райцентр,
где гуси ходят вдоль обочин
и много живности другой,
потешной, как в бродячем цирке,
где дремлет лошадь под дугой
и лают псы на мотоциклы.
Там девы плавны,
как ладьи,
и сложены вполне по-русски,
так что на уровне груди
вот-вот полопаются блузки.



Там люд похмельный гоношит
в сельпо –
теперь торговом центре,
восставшем третьим средь вершин
администрации и церкви.
Пусть явь дремотна и скудна,
но это жизнь, а не модели
и не подобия –
она
суть такова на самом деле.
Стога, бурьяны вдоль межей
и дождь, пролившийся над рощей,
не из эфирных миражей,
но постигаемы на ощупь.
Здесь под героев не косят,
с Петрова дня готова сани,
реальны, точно самосад
и самогон –
и люди сами.
А наш тоскующий турист
комфортно едет к дому – то есть,
обратный путь не столь тернист,
поскольку подрулил автобус.
Померкла спесь, и лоск облез,
и лютик нацепил на лацкан.
Но не выносит ломки без
инъекции галлюцинаций.
Свой комп и телек на авось
зажжет –
душа не стерпит дольше –
и канет в них, не смыв навоз
с извилин стершихся
подшвы.

БЕДНЯГИ

Есть бедняги, которых пленяет демон.
Он сгоняет к ним чертовы тучи денег,
наливает им в плошки со дна – погуще
и поет, что теперь они всемогущи.

У владык всегда свои заморочки.
Опасаюсь о них говорить грубо,
но на весь общак Бильдербергского клуба
не купить мелодии или строчки.
Продаются только одни подделки,
да жратва, да хлам, да срамные девки.

Все торгуются, пряча в кармане кукиш:
настоящего, мол, всё равно не купишь,
потому что ему не цена – деньги.

Всякий большего хочет, лучшего ищет,
неприменно иметь полагая целью.
И обидно имущим, что некто нищий
здесь решает, что дешево, что бесценно.
Он умрет голодным. Уйдет под опись
скудный скарб –
предмет вождельня сытых,
чтобы те выставляли его на Сотбис,
раз исправить уже ничего не в силах.

МЕТРО ГОРЬКОВСКАЯ

То нахрапом растопят весь снег,
то опять холодают –
дни в невнятной и хлипкой весне
ни за грош пропадают.
Мир тревожен, он сам, как апрель,
неуверен и зыбок.
Окунёшься в него – и побрёл
среди слёз и улыбок.
Лезут голуби под ноги –
Кыш! –
и, помешкав оплошно,
воспаряют насельники крыш,
хлопоча заполошно.
А над крышами тучи пасёт
серафимов капелла.
И как рухнет, как хлынет с высот
всё, что в них накопело.
Сложишь зонт –
и ныряешь туда,
где ни тучи, ни неба,
ни дождевки.
Где дело труба –
и ни вправо, ни влево.
Где расписаны в духе Миро
голубые плафоны.
Где подземное море метро
бьётся в берег платформы.
Уплывай, убывая навек,
вот швартуется судно –
и когда-нибудь выйдешь наверх,
к жизни, памятной смутно.

БУДУЩЕЕ

Чётко неоном вычерчены вечера.
Призмы их стекол в чёрствых квадратах стали.
Мы, поспешая на лайнерах, опоздали.
Будущее настало вчера.
Вот его свет замёрзший,
сырой хайвей,
посвисты шин меж обочин блескучей ночи,
тусклые бары, полные одиночеств,
где гангста-рэп читает
его соловей,
в сайтах щебечущий за неимением сада.



Далее глянешь – прорва времён черна
и непроглядна.
Большого ждать не надо –
будущее настало вчера.
Вызрели сроки, и подспела жатва.
После неё, видимо, лишь потоп,
освобождающий от надежд на завтра
и отучающий откладывать на потом.

Дни наши нам нашептывают,
как сводни,
в неразличимые складываясь года:
только сегодня, мой ангел,
всё – сегодня,
или лети в бездонное никогда,
в будущее, клубящееся, как кратер,
где – в из вольфрама выполненной избе –
пользуют ведьмы лазер или коллайдер,
не прозревая будущего в себе,
где, провожаем прицелом из каждой щели,
будущий я, чуждый себе, другой,
в пробке стою по дороге к своей пещере,
с тушей в багажнике, с палицей под рукой.

ТРИЛИТОН

1

Мертвых не бывает.
Тлен, останки,
не мертвы – они и есть земля.
И её волнующие тайны
не хранят ни ужаса, ни зла.
Мы бывшее вспоминаем реже,
чем пристало.
Но от старины
глубочайшей все, кто жили прежде,
в нашей же крови растворены.
Глянь до дна –
там обитаешь ты ли?
Ревом споря с буйною грозой
там клокочет древний гнев рептилий,
как хвощи, подмявших Мезозой.
Расставаясь с берега опорой,
кань во тьму, в провалы вод скользя –
а оттуда рыбы кистипёрой
светят запредельные глаза.
Как бы сроки память ни прошила,
перед нею Божий свет не весь,
но дышать в нем можно всем, что жило,
а не лишь глотком того, что есть.

2

Предки, ковыряясь в грунте скальном,
как велел им царь или Ваал,
по душам беседовали с камнем.
Камень их отлично понимал.
Зачарован речью человека,
как живой, подрагивая весь,
двигался к террасам Баальбека,
забывая свой безумный вес.
Плотно так, что не просунуть спицу –
будь он хоть базальт или гранит,
втискивался в стены Мачу-Пикчу,
полз наверх по граням пирамид.
Говорите –
небу, скалам, водам
сквозь камлание лжи, раздоров, смут,
как родне,
а не вожди – народам,
говорите с верой.
Вас поймут.

3

Допустим, ты не столь умён, как мнилось,
хотя местами и не лыком шит –
наивность нам дарована как милость,
чтоб ужас пониманья приглушить.
Живите, все тайн не поминая.
Разгадка их, как прежде, не близка
Так звери вверх глядят, не понимая,
что рушатся над ними небеса.

ТЕОСОФ

Как докучают иногда стихи!
Они, как им и должно, глуповаты.
А хочется почувствовать себя
теософом, от смыслов изнемогшим,
постигшим знаки тетраграмматона,
раскрывшие всё то, что есть Предвечный.

Не усомнишься в православном храме,
что Бог суть беззаветная любовь.
Готический собор с высот диктует,
что Бог есть только трепет и смиренность.
Бог мусульман ревнив, готов карать
отступников, не чтящих шариата.
Конфуций ищет Бога в ритуалах,
укладе и труде. Буддист сочтет,
что образ Бога – это отрешенность.
Трактовка родоплеменных божков
есть внутреннее дело корпораций,
им это и оставим.

Атеизм –
всё та же вера, её идол – скальпель
эмпирики, вскрывающий пустоты.
Они безбрежны. В них парят миры,
среди которых ищет атеист
родню свою, по разуму собратьев,
с кем можно воевать, совокупляться,
вести торговлю, заключать союзы
для вразумленья менее разумных.
Вне этих опций он признать не может
ни разума, ни дружества, ни братства –
и что ему до мыслящих вселенных.

Быть может, Бог баюкает его
как бабочку, в отеческой ладони,
боясь пыльцы коснуться ненароком
на нежных крыльях своего создания.
Ведь мотылек – он тоже атеист,
он жаждет встретить мотылька другого,
поскольку в мироздании над ним
бессмысленно всё то, что не порхает.

Не так же ли и я, мыслитель праздный,
не верующий ни во что на свете,
усну, пустым раздумьем утомлен,
проживший долгий век, не понимая,
кто согревает жизнь мою в горсти,
храня её от горестей и смерти.

ГОЛУБИ

Уничтожьте всё,
для чего нужно лгать, убивать, красть,
и рваните в грядущее, радостны и ретивы.

Я такой же сторонник реформ, как Экклезиаст.
И настолько же верю в благие перспективы.

Мне и здесь хорошо.
Люблю этот миг – и мир,
отражаемый им, как свет жемчужной сережкой.
Этот вкрадчивый снег, медленный, осторожный.
и любой из дней Господних мне равно мил.

Старики не ставят на завтрашнее зеро,
если есть сегодня – у тех, кому повезло.
Завтра будет крутить рулетку всё то же зло.

Так полюбим теперь же
что не проиграть, не выиграть,
что вне предвкушений, зыбких надежд и выгод –
землю, женщин, детей, деревья, траву, зверьё.



Дрогнут нищие голуби, жмутся к стеклу окошек.
Я приладил кормушку и насыпаю крошек.
Хоть они и засранцы, но выжить хотят сейчас.
Это про голубей. А может быть, и про нас.

Мы бы тоже хотели на крыльях лететь от бедствий.
Только некуда –
небо нынче на всех одно.
Прежде можно было себя обозначить бегством.
А теперь отвернись – и молча смотри в окно.
Говори с голубями.
Кругами их носят ветры
над помойками отчих лабазов и кабаков.
Им не нужно ни будущего, ни мечты, ни веры.
Но – снизойди к ним.
Может, и сам таков.

СУБМАРИНА

Подводный крейсер выполнит приказ,
хотя страны, его пославшей, нет.

Она уже сгорела, стала пеплом,
и некуда вернуться морякам
и не к кому –
их близкие погибли.

Но жуткая гигантская сигара
беззвучно продвигается во тьме,
на глубине такой, что стонет корпус
под гнётом непомерного давленья.
В отсеках разговаривать нельзя –
и не о чем.

Отмщенье и присяга
в безмолвии царят на корабле,
прокладывая курс.

И наконец
чудовищный ковчег наоборот,
несущий гибель чистым и нечистым,
дает подводный старт своим драконам.
Шестнадцать грузных туш из-под воды
вскипающей взмывают в клочьях пара –
и каждая несет ещё шестнадцать
зарядов, рассыпаемых над целью,
как адский дождь над проклятым Содомом.
А там и беспилотные торпеды
назначенных достигнут рубежей.
И «Мертвая рука» рванет на дне,
раскалывая днище океана...

Всё стихнет через пару-тройку дней.
Последняя, быть может, субмарина
всплывет под небом ядерной зимы
в чудесном новом мире.
В нем не будет
ни подлости, ни алчности, ни злобы,
ни зависти, ни глупости, ни лжи.
Мечта сбылась.
Безумный капитан
команде выдаст все запасы спирта
и красного вина.

Ракетоносец
уже без цели, смысла и приказа
направится к родимым берегам,
куда ещё живыми доплывут
подводники, увидевшие рай.

ХРОНОГРАФ

Нет, я не забыл о тебе, поверь мне.
Но понимаешь – сутолока, чехарда.
И я звонил бы чаще, но нет времени.
Знаешь ли, нет времени –
никогда.

Так и бывает: всё думаешь, что в запасе
тысяча лет, а беличье колесо
жизни крутится, как на моем запястье
крохотный цирк старенького «Tissot».

Либо мы вправду были счастливы, либо
все эти фазы лун, карусель планет,
угол восхода и градуировка лимба –
шоу рассудка,
а времени просто нет.
Мы, заплутавшие в этой мудреной грамоте,
разлучены –
по единому кругу мчась,
разведены по деленьям надежд и памяти
тоненькой стрелкой светящегося «сейчас».

Сколько их канет впредь, капель-минут, еще...
Горы стояли: глядь – островов гряда.
Но изменяется лишь глубина минувшего.
Сами же камни не движутся никуда.
С этих позиций жизнь и смерть –
только термины
недостовой теории бытия.
И мы бы её опровергли,
но нет времени,
в коем продлились вместе бы
ты и я.

ПЛОЩАДЬ

1

Тогда Исаакий был ещё в лесах,
но длань уже простер над Петербургом
с Гром-камня восстающий Медный Всадник –
и конь его топтал змею измены.

Мой отдаленный пращур,
младший чин
Гвардейского Морского экипажа,
сквозь вьюжный, злой декабрь
по льду Невы
бежал к мятежной площади Сената
и мерз в строю – до пушечной картечи,
до сумерек, смятенья и бесславья.

Из видных заговорщиков никто
тогда не умер. Полегли солдаты,
да возбужденной черни из толпы
под тысячу.
И трупы до утра
городовые в проруби топили.
А знать, дрожа у изразцов печных,
осознавала: кончена игра
в таинственность и пламенную вольность,
в масонов, теллей, байронов и брутов.

Но странно, что никто из главарей
не застрелился – ни позёр Каховский,
исподтишка убивший двух героев
Бородина,
ни Трубецкой – отступник,
как многие салонные трибуны,
на следствии топившие друг друга.
Как будто малодушно предпочли
достойной смерти рудники, острог,
бесчестие – и виселицу даже!

При этом на войне
за государя
едва ли кто из них прослыл бы трусом.
Но пред монархом русский человек
впадает в паралич, в оцепененье,
теряет волю, пониманье смыслов –
и обмирает, словно в декабре
стоит недвижно под стеной Сената.

Лишь несколько витий,
солдатам лгавших,
беспомощно метались, не имея
ни цели, ни согласия меж собой.
Иные ночью кинулись в бега...

Восстания, по сути, не случилось.
и миф живет лишь подвигами жен,
явивших верность, мужество, решимость,
которых не хватило их мужьям.

2

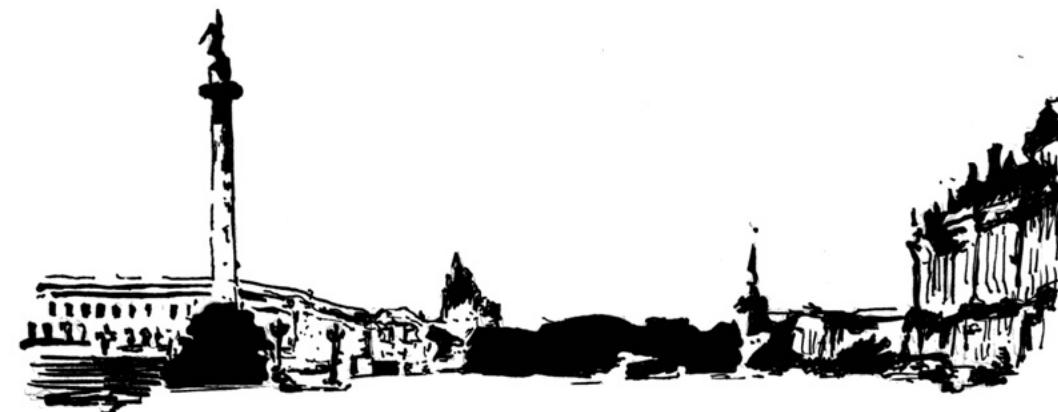
Но мнится сквозь пургу, что те полки
мятежные навек закоченели –
московцы, гренадеры, моряки.
Белым-белы мундиры и шинели.
И, как метель, сечет их шквал шрапнели.
Но все стоят, построены в каре,
готовые к последнему параду,
желая согнуть за царя и правду
в российском беспредельном декабре.

Да царь – он не семи пядей во лбу.
Горазд лишь только выпалить в толпу,
насуспенную, ропщущую робко.
Жизнь потечёт, как прежде, неторопко,
зато найдутся пойло и похлёбка.
Но правды молвить некому досель,
какой бы сброд в сенатах ни воссел –
она не то, что пустомели мелют.
Полки стоят, изваяны из льда,

и сдвинуться поныне никуда
не могут, не дерзают, не умеют.

... а пращур юный – сослан на Кавказ,
по путаным преданиям семейным,
уже затем домой, под Арзамас,
без права покидать свое именье,
в котором и осел, как за стеной.
Хозяйствовал, пока играла сила.
Венчался со своей же крепостной,
как либерал – но та была красива.
Детей рожал. И годы, как вода,
бежали. Был помилован, когда
сплошною сединою стала просесть.
Дождался внуков, долю претерпел.

Поэтому живу и я теперь.
Но никогда не выхожу на площадь.





Олег Рябов,
друг, писатель,
главный редактор журнала
«Нижний Новгород».

ИГОРЬ, ПРОЦДАЙ

Я шёл по Свердловке от Горького к Чкалову,
 И мне не хватало, по-моему, малого:
 Ну, граммов там ста, ну а если уж двести –
 Так сразу бы всё оказалось на месте.
 И мне повезло: на скамейке и с книгой –
 Монтеня читает товарищ мой, Игорь.
 Восторженно крикнул ему я: «Здорово!»
 Почти без надежды, узнав Чурдалёва.
 А он не читал – он повергнут был в думы.
 Тогда я его, как на грех, надоумил,
 Легко убедив кучей разных соблазнов,
 И ввергнув его в свой сомнительный праздник.

Прикидываясь грубым и жёстким поэтом,
 Выигрывал многое Игорь на этом:
 Его уважали художники, дети,
 Девчонки ласкали его на рассвете,
 Милиция спать разрешала в подъездах,
 Ножом он грозился кого-то порезать,
 Мог денег спросить у крутых бизнесменов
 И быть независимым в деле семейном.
 Таким был мой друг настоящим плейбоем!
 Но только он видел – сегодня нас двое,
 И значит, стихами делиться не надо,
 А ждёт нас вполне очевидная радость!

Мы с ним отдохнуть на трибунах «Динамо»
 Решили, имея «Агдам» на кармане.
 Здоровые тётки с раздутыми титьками
 Кидались там ядрами, длинными пиками.
 Такие же мощные, но помоложе
 Вдоль поля трусили, и я скажу – тоже
 Противное зрелище. Солнце палило.
 Нам с Игорем радостно, весело было.
 Бывает же так: покажи только палец –
 И тут же проблемы куда-то пропали,
 И сразу мы стали героями жизни,
 А всё остальное – лишь пена и брызги.

Да-да, городскими, не горными тропами
 Мы жизнь свою скромно, безвестно протопали,
 Какою-то глупостью вечно наполнены,
 Волнуюсь какими-то праздными волнами.
 Волнуюсь, волнуясь фонтанами памяти –
 Вся юность уже превращается в памятник.
 Когда? Почему? – Задаюсь я вопросами.
 А, может, всё взять — забудками, розами
 Усыпать и вызвать сплошное забвение?
 Слух мы потеряли, теряем мы зрение,
 Теряем мы совесть, теряем мы силы,
 Мы сильными были – давно это было.

20. 6. 20

НЕТ ВРЕМЕНИ

Тайна художника. Она реально существует. Она притягивает мощным магнитом.

Игорь Чурдалёв жил искусством и внутри искусства.

Даже если он не занимался им постоянно и целенаправленно, а занимался в жизни другими делами, целой вереницей хороших и верных дел.

Ему было врождено быть, пребывать художником; художество было его магнитным полюсом, его Полярной звездой; для художественного высказывания он находил такие уникальные моменты в медленном и трагическом ходе Времени – и такие слова, что всемерно приближались к тому Слову, которое было у Бога и которое было Бог.

И для работы со словом такого уровня Игорю не нужно было непременно обращаться к высокой, небесной тематике. Он мог взять любое жизненное впечатление, любую зарисовку, любой этюд, любую мелочь жизни – и свободно, играючи поднять их до планки мифа.

Поэтому Игорь Чурдалёв мифологичен и необъятен.

Его лексика жестка и точна – он при всём бесспорном романтизме ранимой души далеко не всегда писал то, что гладило читателя по эстетической шёрстке. Он смело брал материалом стиха политику – и делал её поэзией. Он в слове сопротивлялся, боролся, выходил на площадь и уходил в ретрит. Он очень вольно, философски и играючи, обращался с Временем в стихе, договорившись до знаменитого своего:



Елена Крюкова,
поэт, прозаик, искусствовед.

НЕТ ВРЕМЕНИ.

Да, для Игоря времени и вправду не было – в том понимании, в каком оно повседневно беспокоит нас: мы боимся, что оно утечёт сквозь пальцы, ведь оно не вернётся, мы хотим УСПЕТЬ.

А Игорь – он никуда не опаздывал. Он не хотел успеть, догнать и перегнать, посоревноваться, выскочить вперёд, не хотел никому перейти дорогу, никого не желал затоптать и проклясть. Он такой упрямый, точный и ювелирно-чёткий в слове, в его мучительном поиске и единственной находке не делал свою поэзию ареной личной войны или кардинально поданной эмоции. Он прекрасно слышал, чуял это вечное, русское, классическое: ГОРЕ ОТ УМА, –

и сам, будучи всеобъемлюще умным, подлинным русским интеллектуалом, знатоком всего и вся, прекрасно, не боясь, мог нырять – и глубоко! – в море настоящего Орфеева безумия.

Вот это сочетание страсти и гордости, пугающей довременной бездны и жёсткой словесной архитектуры, вдохновения аэда и бесстрастия летописца, любовной дрожи и острейшей насмешки (и даже над самим собой, не только над современниками!), нежнейшего сочувствия и справедливого гнева – и есть фирменная стилевая фишка Чурдалёва, та его трагическая интонация, что поднимает его над толпой поэтов его поколения и ставит вровень с сильнейшими.

Он любил бессмертного героя Михаила Лермонтова – офицера Печорина – и даже, думаю, тайно старался на него походить.

... Ни на кого он не был похож. Он был предельно индивидуален.

Как любой сильный художник, он явился не только зеркалом себя, своего внутреннего богатейшего мира, но и зеркалом своей эпохи.

Сочетание пронзительно-личного, до дрожи интимного и фресково-эпохального, масштабно-исторического – это синтез, что пылает-горит в стихах Игоря.

Он знал, как ухватить стихового быка за рога. И хватал.

Он превосходно знал – и чутьём, и разумом, – что к чему в словах, что лепятся друг к другу, и замечательно изъяснял свои творческие наблюдения братьям-поэтам – в «Триклинии», на «Марафоне»: в атмосфере тех культурных пространных, которые он сам и создавал.

Вокруг него всегда клубились люди, люди, люди.

И он уходил от них в затвор.

Уходил как мог.

Даже если поэт не пишет стихов, ему нужна медитация.

Он хочет забыться, закрыть глаза, насладиться жизнью или горько поплакать над ней, невозвратной; ему нужно одиночество.

В последние годы пребывания своего на земле Игорь, что называется, расписался. Он делал новые, совершенно блестящие, мастерские работы, показывал их: и в журналах, и в Сети, и читал друзьям. Мы не знаем, что он думал о славе, об известности, о пресловутом бессмертии. «А наутро притащится Слава / Погремушкой над ухом трещать...» – усмехнулась как-то раз Анна Ахматова. Игорь запросто мог повторить эти ахматовские слова. Или неслышно прошептать их.

Разве дело в бессмертии? Все уйдут. И все останутся.

Ведь нет времени.

Мы радовались, читая его новые стихи. Принимали: вот истинный художник. Вздрагивали: о, как верно и глубоко! Печалились: как же нужны поэту книги, книги, читатели... И где она, эта пресловутая слава...

Художник не думает о славе. Он – просто – работает.

Знаете, Сальвадор Дали однажды взялся писать «Библию художника». И начал с десяти заповедей. Сел и написал на листе бумаги: ХУДОЖНИК, РИСУЙ!

И всё. И больше ничего не написал.

... Поэт, пиши.

Игорь написал, что чувствовал, думал, хотел. «Он сделал, что хотел».

И это – главное.

ИГОРЬ ЧУРДАЛЁВ И ЕГО ПИРАМИДА

Игорь Чурдалёв входил и входит в моё чувство родного города – он всегда жил в самом центре Нижнего Новгорода (тогда ещё Горького) и этот центр для меня во многом олицетворял. Игорь был элегантен, аристократичен и отчётливо, подчёркнуто оригинален – он был устроен как альтернатива банальности и серости.

Смолоду кипела внутри у него не просто сила – ярость и гордость, вызов. Он был эгоцентрик, прирождённый лидер. И всегда как бы при нём – мысленно – было холодное оружие, которое он любил и знал. Коллекционировал. А душа – «налево, к сердцу тяготела...»

Мы познакомились в конце 70-х, мне было семнадцать. Он был старше на целую вечность,



**Марина Кулакова,
писатель, педагог,
председатель Нижегородского
представительства Союза
русских писателей.**

то есть на десять лет, и огорошил меня упрёком в вопиющем невежестве: на тот момент я не читала «Моби Дика» и «Мартовские иды», не знала древних историков и стихов Олега Чухонцева и ещё много чего. Моё чтение было срочно скорректировано. Летать в космосе его интеллекта наравне с ним было нереально, но соприкоснуться – ослепительно интересно. Несколько лет, включая рок-эпоху конца 80-х, мы много общались, нередко выступали вместе на разных площадках и фестивалях.

В Игоре была какая-то древняя, не из нашей жизни умудрённость и волшебное изящество речевого поведения. Всё это немислимым образом сочеталось с куражом/драйвом, джазом/рок-н-роллом, смехом и космически острым интеллектуальным зрением. И, конечно, с мысленным театром.

У нас с ним была одна тема – не тема даже, а угол сердца и разума: нас интересовало время. Время. Как очень странная и неуловимая субстанция. Как переменная. Очень сильно переменная.

Я читала его всю жизнь при взаимном интересе и прочтении, слушала тысячи раз – училась у него умственной свободе/дисциплине – да, в сопряжённости!

И вот случилось то, что случилось. Игорь ушёл, его не стало в земной жизни. Я снова открыла его стихи и поняла, что во многом он не прочтён и не понят, в том числе и мной.

Декларировал он себя в юности как человека сугубо городской культуры, «второй природы», как урбаниста – в широко известном, в частности, стихотворении-манифесте

«Железный проспект». И в эту декларацию железно верилось, в ней была искренность и какая-то сердечная боль. Теперь многое слышится по-другому.

В 1983 году вышла его первая книга «Ключ» в Волго-Вятском книжном издательстве, а в 1987 году, в московском «Современнике» – вторая, «Железный проспект». В 2002-м – третья, «Нет времени».

Это было последнее прижизненное издание. Его и перечитываю уже в который раз. И прохожу тот путь, который там очерчен. Путь с вершины молодого эгоцентризма – к подножию человеческой пирамиды, к земле, к людям. Причём пройденный Игорем достаточно рано, осознанный и проговорённый. Но не вполне услышанный.

Его интересует время. Невидимый и коварный противник. Он твердит, забыв о сне: – Я диктую полумиру, кто ж отмеривает мне время – строить пирамиду?..

Кто желает мне конца?

Кто прикажет жить старея,

словно сыну кузнеца

или внуку брадобрея,

Мне – властителю Урея,

Мне, носителю венца? ...

Это его юношеская «визитка», которую все мы знали наизусть, – «Египетская баллада» со знаменитым хитовым рефреном, заклинанием, напоминанием самому себе: время строить пирамиду.

Пирамида. Этот знак-символ он расшифровывал, окликал и опирался на него, на этот древний первообраз, всю жизнь.

Пирамида – она по сути своей загадка. Она остаётся. Стоит незыблемо.

Вот, казалось бы, написан корпус текстов. Архитектоника прозрачна. Строение легче воздуха. И «томов премногих тяжелей».

И немногим, оказывается, под силу понять. Под силу подняться по ступеням. А почему? Потому что, оказывается, надо не подниматься, а спускаться с вершины-то, какой бы она ни была, эта вершина: молодость, богатство, талант, удача, опьянение всем этим, вместе взятым... Надо спускаться с этих феерических умозрительных высот к людям, к другим людям, избывая гордыню.

И подсказка именно к этому пути была озвучена давно, в «Разговоре рядового с ветром».

... Послушай рядового.

Рядовой –
не от рожденья, но трудом и потом –
я выбился из знати родовой,
из прадедов и дедов, по штрафротам
хлебавших лихо ложками стыда
сполна – за вековую спесь княженья.
В четвертом поколеньи униженья
погашен долг –
вчистую, навсегда.

В ряду людей –
а ряд людей велик –
теперь, когда я выкуплен на волю,
комдив – и выше – существуют лишь
в той степени, в которой я позволяю.
И судьи мне на свете – только те,
с которыми я мыкаюсь во взводе.

Так ветру ли учить меня свободе,
шумящему о ней лишь в пустоте? ...

Пожалуй, никто в русской поэзии не говорил так глубоко и тонко о гордыне и смирении, о личном достоинстве, как Игорь Чурдалёв. «Разговор рядового с ветром» ещё в юности беспрецедентно заявил эту тему, и потом многократно и многогранно Игорь размышлял об этом...

У него было именно такое понимание свободы: в ряду людей. Такой путь – с вершин умозрения, с вершин эгоцентризма к подножию, к основам жизни, к людям. Именно с такой траекторией пути связаны открытия и озарения зрелости. Этот болезненный и драматичный процесс, этот горный склон и состояние преодоления этой тропы, тропы спуска, нисхождения описан в стихотворении «Охотники на снегу» («Как умирала молодость во мне!...»). Своего рода слуховое прозрение – в триптихе «Жар».

Родился Игорь в Севастополе, хотя всю жизнь прожил в Нижнем. В замечательном очерке-эссе «Крыммой»* очертил и описал Крым в наши дни сквозь призму личного восприятия с точностью и объективностью геополитической.

Глубоко сказал о своём мироощущении в стихотворении «Мне Бог был явлен морем...»

Перечитываю его прозу – эссеистику 2008–2010 гг., которая писалась для «Новой газеты в НН», цикл «Частные хроники», – словно говорю по душам. Когда эти тексты появлялись в «Новой газете» в те годы,

**В/Ч (Васильев-Чурдалёв)
Музыкально-поэтическая композиция «Жар»**



[youtu.be/
62mNin1vGig](https://youtu.be/62mNin1vGig)

у меня всё не хватало времени вчитаться в них. Они были неспешны, а я тогда ещё спешила.

Теперь невозможно не видеть, как он был прав и точен в своём неспешном умопостижении жизни и тогдашних, равно как и всегдашних, российских и нижегородских реалий и процессов – «Русский январь», «Город в аренду», «Сайт» и другие, другие... В 2008 году он написал эссе «Основание пирамиды». О чём? Прочитайте, доступно на сайте «Свободная пресса» и на «Проза.ru».

Талантливейший поэт города-миллионника не имел никаких литературных премий и наград. Кто-то заметит: «и не нуждался в них». Ну, как вам сказать? Он был, конечно, из «презирающих цели». Но в оценке, безусловно, нуждался.

Игорь ушёл в интернет. Выбрал такую форму хранения стихов и общения. Важно сказать, что в интернете у Игоря Чурдалёва сотни тысяч читателей. Причём он внимательно и деликатно отвечал каждому, кто присылал ему свои отклики.

У него была своя манера говорения, интонирования, свой синтаксис. Читаю и слышу его голос, и говорю с ним... Изумляюсь его письму и мысли, аргументам и фактам, его взгляду в сегодняшний день и в будущее. Его живому присутствию. Соглашаюсь: «Искусство само по себе является и наградой, и защитой тому, кто дал себе труд его понимания», да.

И не прощаюсь.

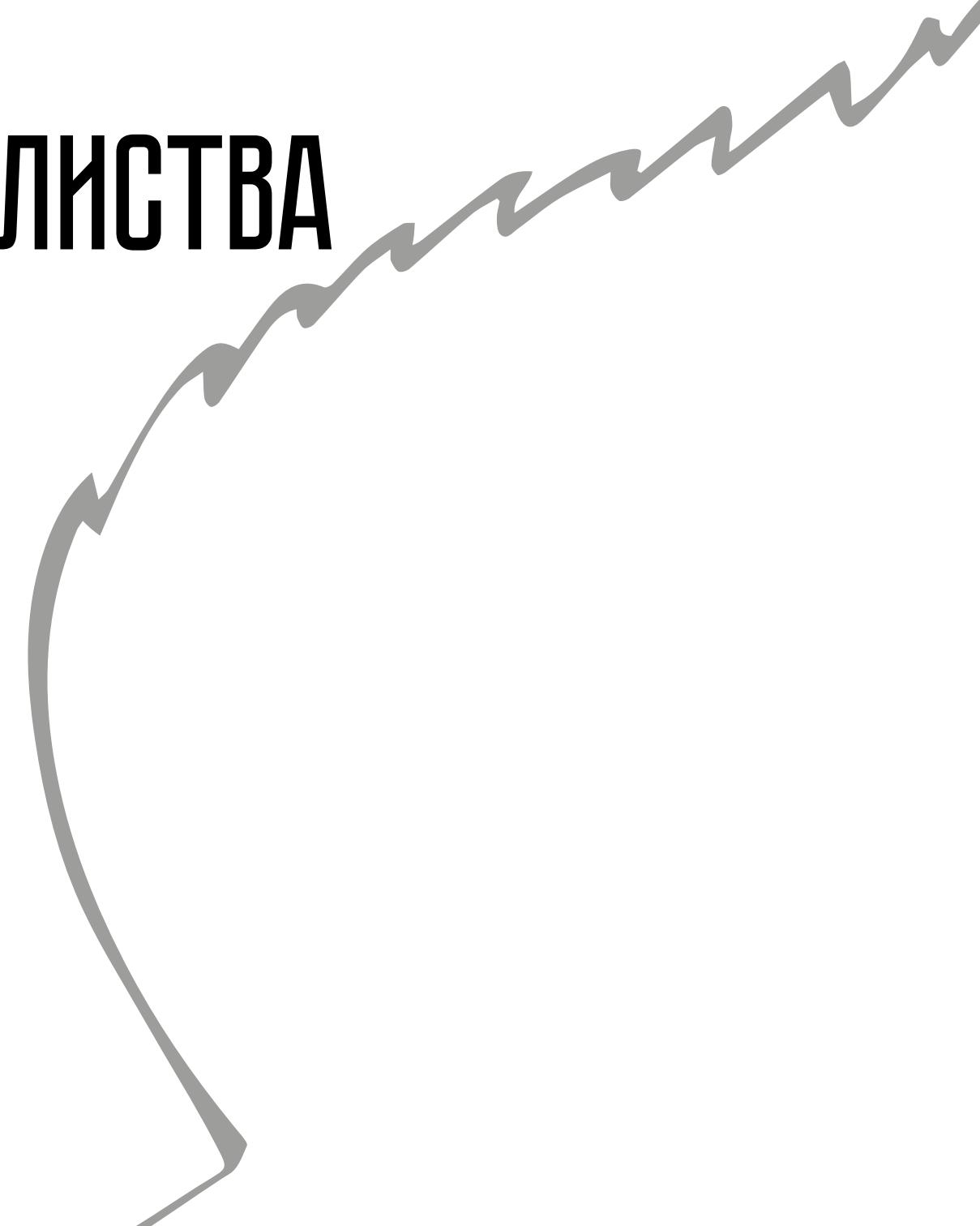
Удивительно. Невероятно. Но факт.

* КРЫМ МОЙ



[proza.ru
/2018/08/04/1398](https://proza.ru/2018/08/04/1398)

ЛИСТВА



ПОЛЁТ ВОРОНЫ НАД ОКОЙ

Река, Ока, широка – эти рифмы истоптаны, как
снег у моста. Спазмом своим строка
их отторгает. Просто скажу о том,
что над мостом
летает
птица. Издалека
кажется, что это только
битый пиксель дня,
нервно пульсирующий от восторга
собственной лёгкости в мониторе окна.

Кто она? –
явно не из парящих
и перелётных, тощая, испитая –
слишком хлопочет крыльями, слишком прячет
вектор полёта, шарахаясь и петляя,
цель свою сиюсь в фокусе сохранить.

Вся затрепещет –
и кажется, что она
вроде и взмыть не прочь, но как будто нить
к лапке её озябшей прикреплена.

Штрих этот вдруг растворяется небосклоном,
а приглядишься вновь и увидишь – вон он,
в тщетной попытке кануть в пустую даль.
Это ворона,
суть – измельчавший ворон,
дщерь вещунов, потерявших свой тёмный дар.

Что с незаоблачной видится высоты?
Плоскости, линии. Льды, полыньи, мосты.
Схема, лишённая глубины, основа
фона для расположения крох съестного.
И траектория ломкая объяснима
связью между полётом и коркой хлеба –
именовать судьбой эту связь нелепо.

Вдруг заплутавший вихрь пролетает мимо,
даже бескрылое поднимая в небо.
Крутятся лопасти смерчей его жестоких,
всё, что во льды не вмёрзло,
что не пришито
на смерть к пейзажу – на вихревых потоках,
рвётся на юг, где вдоволь тепла и жита.

А надо льдом Оки исчезает мост,
собственно, и река исчезает тоже,
лишь завихренья, извилистые, как мозг,
враз ниспадают завесой сплошной пороши.
Всё пропадает из виду.
Но ввиду
сумерек – это с порядком вещей в ладу.

Всё исчезает, но продолжает сниться,
стало быть, так написано на роду –
всё исчезает, кроме незримой нити
и кома перьев, остывающего во льду.

ЕСТЬ АЛИБИ У ВРЕМЕНИ...

Есть алиби у времени. Оно
не видело, как ладилась продажа.
И шло, куда-то вдаль отнесено,
и занималось сменой пейзажа.
Оно играло кубиками лет,
как в детсаду ребенок несмышленный,
раскрашивая клеточки полей
попеременно в белый и зеленый.
Выстраивало башенки-века,
в песок перетирало глыбы кремня,
покуда мы пускали с молотка
друг друга – с оговорками на время.

Вот и теперь к очередной заре
текут минуты медленным потоком.
Кофейник пуст. Светает на дворе.
Но ничего не выяснено толком.
А завтра снова с азбуки начнем,
искушены, мудры, витиеваты.
Полтретьего. Но время ни при чем.
Мы заболтались – сами виноваты.

ЛИСТВА

Князь гридей своих обогнал и свернул в березняк.
Червлёные клейма плаща между белых стволов
угольями тлели, бряцала набором броня.
Земля индевела уже – и подковы крошили
ледовую корку, покрывшую палые листья.

Помыслилось всаднику: знатная рать полегла! –
уму не постижна числом и шумела на славу,
воюя с ветрами. Но сгнули вои её,
как некогда обры, едва наступила пора
для стужи и смерти. Не ярость врага, не раздор
среди воевод погубили полки листовяные,
а просто исполнился срок, что отпущен всему –
мужам и народам, сколь доблесть бы их ни сияла.

Унылое поле темнело за строем берёз.
И стая ворон безнадежно искала прокорма
на зябнущей пашне, пятнавшей долину заплатой.

А в роще плутали охрипшие возгласы «Ингварь!» –
и мощная конская грудь разрывала тенета
покинутых нитей паучьих, крушила подлесок.
Насупленный столбик Вышата подъехал ошую:

– Да что это деется, княже! Вся челядь твоя
что гончие псы, потерявшие в чаще еленя,
а ты предаёшься скорбям – со вчерашних медов.
Не полно ль разлукой томить красоту молодую
княгини – бежим же скорее к родному двору.
Палаты теплы твои и погреба изобильны,
ты лютой зимы не заметишь в пирах и ловитвах,
а почки нальются едва, так опять в стремена!

Суровые ратники прежним путём потекли,
не зная судьбы, но напрасно о ней не гадая,
оставив волхвам ворожбу. По словам летописца,
тот день был отмечен толкуемым разно знаменьем:
два солнца на небе явились незнамо к чему.
Примолкла дружина – и всадников тени двоились
на льду молодом, на полёгшей багряной листве.

СЛИЯНИЕ

Символ русской бесцельной свободы, речной пароход,
приближаясь к зеркалу слияния медленных вод,
дико гикнет гудками, входя в предрассветный туман,
как топивший когда-то княжон разбитной атаман.
Звук уйдёт к берегам и во все разбредётся концы,
тронет окон мембраны, над хаосом крыш пролетит
и порвётся на лОскуты о крепостные зубцы.
И проявится Нижний сквозь дымку, как дагерротип.

Я любил этот город у неторопливой реки
без помарок сознанья, без «но», «несмотря», «вопреки» –
и без черновиков, о которых не помнят, любя.
Без прикидок, но набело сразу – как пишет судьба.
По страницам железа и камня ведя остриё,
на смерть в стенку причала врезая свои имена,
где слезой и улыбкой согретое слово моё
будет в речи текучей плескаться и после меня.

Станет солнечным бликом играть, забавляться волной
или прятаться в лёд – как играла когда-то со мной,
уходящая, неудержимая эта вода.
Но теченью её не направиться вспять никогда.
Час урочный тебе протрубит пароход вдалеке.
В эту даль до конца, до последнего дня излучась,
ты навстречу слиянию выйдешь к огромной реке –
но уже не на фоне простора, а сам его часть.



СТРАНСТВИЕ

Ты ради дальнего бросал ближнего,
в плацкарту верил, как в страховой полис.
От Севастополя и до Нижнего
тогда ходил ещё прямой поезд.
Всё было прежним, иным.
Среди всего –
иным билетом снабдили волка,
точней волчонка, не затвердившего,
в какое море впадает Волга.

Но компас глючил, куда ни плавай.
Стояла стрелка, шкала скакала.
Пловец, нырнувший под Балаклавой,
задрогшим вынырнул из Байкала.
А там – Сибирью петляла трасса.
К ней из сугробов плелись деревни.
В них люди знали, что миф пространства
ещё обманней, чем сказки времени.

Путь очевиден.
Цель – только домыслы.
Ты шел и выжил. В чём смысл глубинный
того, что не был затоптан до смерти
друзьями – и не добит любимой?

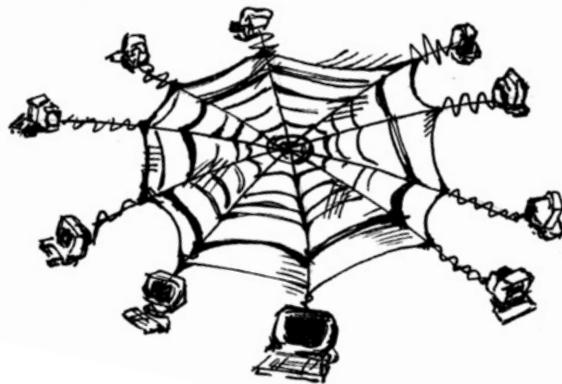
Жизнь странно кончится.
Под конец её
В тебе восстанут одновременно
твоя Чита и твоя Венеция,
твой Владивосток и твоя Вена.
Ты станешь только чертой их сходства,
пусть самой крохотной и невяной,
зато пронзительной, как сиротство
вокзалов, гаваней, расстояний.

Под мутный литр пивзавода «Волга»
возьми на закуску спинку минтая.
Помяни молодость – и живи долго.
Прости минувшее. Умри мечтая.

СКАЙП

Нынче ходить по гостям стало как-то немодно,
все медитируют за баррикадами скарба –
и ни подраться нельзя, ни обняться,
но можно
рюмочкой звякнуть легонько
о камеру скайпа.
В Рио далёком
(или под боком – а проку?)
– здравствуй, товарищ! –
и кроме такого привета
прочее всё относительно в эту эпоху,
пересечённую нами со скоростью света.
За искривлень пространства, ведущее к встрече,
за понимания норы кротовые – чокнемся, что ли.
Вы ниоткуда не убыли, граждане Речи,
в тех же полях кириллических ищите доли.
Взял да подался подальше,
коль жизнь вздорожала.
Миру без разницы,
где ты – в Торжке или Ницце.
Пали престолы, лишь вещая эта держава
словом предвечным свои осеняет границы.

В годы не лучшие –
лучшие мы прозевали
в пробках куда-то спешащих, но замерших улиц,
сам не из лучших,
которые не выживали
там, где мы молча, но красноречиво прогнулись,
хоть и держаться с достойными вровень старались –
в будущей жизни, которую все же застали,
я позвоню тебе за полночь – здравствуй, товарищ! –
словно сигналил в потёмках застава заставе.



СИЛУЭТЫ

Кто-то всё машет, машет издали мне,
стоя на фоне солнца, на чёрном камне.
Кто – не пойму.

Вспомнился тип из канувших лет, из Леты,
что вырезал чёрные силуэты
в прежнем Крыму.
Втискивал мир огромный
в памяти монохромный
ветхий формат.

Абрис любви и лета
схвачен был точно. Где-то
он затерялся, смят.

Контур ночи в сияющих дней окладах –
юные профили хиппи, дружков патлатых.
Я – в их строю.
Краденой дыней потчевали девчонок –
мидиями и воровством бахчёвых
жили в раю.

Если по юности мы не того вкусили,
то от ответа после не откосили –
Боже, прости.

Тенями пали в белесую пыль дороги,
чтобы уже никогда ничего в итоге
не обрести –
ни озарений, ни большей любви, ни пыла.
Так нам с тех пор и дышалось лишь тем, что
было.

Было – давно когда-то,
прежде, чем вы, ребята,
убыли – то ли в Штаты,
то ли на Колыму.

Отмечая закат,
на привале
Чёрного Камня мускат
распивали
в Божьем Крыму.

НАЛИВАЕТСЯ СЛАДОСТНЫМ ЯДОМ...

Наливается сладостным ядом
истомленных плодов вещество.

Это срок созревания яблок.

Это август, скорее всего.

В кущах рая взывает сирена –
невозможное произошло!

Змей в листве одряхлевшего древа
ухмыляется нехорошо.

Это та же извечная пара,
изначальная та же игра
в запустенье районного парка,
меж познанием зла и добра.
Их в хрустальной купели крестили,
непорочных впустили сюда.
Всё погублено! Оба вкусили
от запретных любви и стыда.

Так целуйтесь – до крови из десен.
Обнимайтесь – до боли в костях.
Суд идет, надвигается осень.
Вам уже ничего не простят.
Всё равно вы кругом виноваты.
Невозможное произошло.
И уже не избегнуть расплаты.
Так пускай же хоть будет – за что.

В ЗАБЫТИИ

В какие бы ни ударялся стези я,
но выжить случалось во все времена.
И таяла боль, и прощалась вина –
на то и беспамятства анестезия.
Забытый мой друг, ты не вспомнишь меня.

Невесть что несли и за что выпивали,
зачем над судьбою куражились всласть,
в неверных пространствах, где нас забывали
забытые нами. Где жизнь пронеслась
неправильно – словно по встрече на красный.

И свет её, некогда цельный и ясный,
дробится на блики, огни и лучи,
плывущие прочь, как перрон, на котором
не ты ли стоишь, провожающий взором
мою электричку в студёной ночи –

и сам превращаешься в кокон с теплом
в ознобном вагоне, несущемся мимо,
закрыв капюшоном три четверти мира,
позволив остатку мелькать за стеклом.

Что мир? Отвернись от него – и тотчас
крошатся его сочлененья и скобы,
и звенья теряют железную связь,
и память включает свои стробоскопы,
сама же легко забытём становясь.

Усни в её дебрях – и сам себе снясь,
смотри, над провалом сознания склоняясь,
как бьются крылами о тёмные стены
невнятные сны, непроглядные тени,
забытые нами, забывшие нас.

ТЕРРАКОТА

*И глина вилась золотым серпантином
И вдруг поднималась старинным сосудом.*

В. Калашников

Надежду с Любовью не путал, но знал обеих.
Любил надеяться, надеялся, что люблю.
Лишь с Верой не повезло. Недвижный берег
отроду чужд истому кораблю.
В юности к морю стремятся все.
Неокрепший разум
ищет свободы извне – и к небесным грозам,
к волнам пустынным зависти полон.
Но к старшим классам
жизни –
такой подход под большим вопросом.

Жил мой приятель у моря –
свободы ради.
Штормом косматым клубились его пряди.
В дудочку дул, нечто черкал в тетради
да продавал сувениры на эспланаде,
слепленные из праха с искусством тонким.

Он, ювелир терракоты, был предан глине
в смысле не столь печальном, который ныне,
в тех же словах тяготеет к сплошным
потёмкам.

Пляясь на девочек ласково и нахально,
как он картинно заныривал – местных
глубже! –
и доплывал до мыса, не сбив дыханья.
Я был серьезнее, но я дышал хуже.

Лязгали лезвия наших заумных игр,
философических спаррингов и баталий.
Он заводил:
– Понимаешь ли, друг мой Игорь...
Я отбивался:
– Но видишь ли, брат Виталий...

Были подруги наши, как сны, прелестны –
пчелы любви собирали свой мед с полыни.
Как сувениры, прекрасны и бесполезны
дни наши были – и где-то в пустотах бездны
свет их, наверное, так и летит поныне.

Сделав бутылку игристого посошком,
ибо мыслитель всегда лишь условно трезв,
мы выдвигались на поиски истин пешком
от Коктебеля до Старого Крыма, срезав
петли пути напрямую, по кущам Рая,
кронами древ и крылами его валькирий
осенены.

Запыхавшись и обдирая
до крови руки о ветви в уборках игл,
я окликал:
– Подожди же меня, Вергилий!
Он отвечал:
– Ты неправильно дышишь, Игорь.

Вроде бы так и бреду с той поры, отставший,
зелья курящий,
зело умудренный, старший,
горным просёлком по матери нашей – глине,
щебень сцепившей в готовой сойти лавине.

Пусть хоть один из нас встретит усмешкой
старость.
Близится миг разрешения споров наших.
Но всё пытаюсь попасть в этот ритм,
пытаюсь –
вдох на четыре шага и выдох на шесть.

Времени камень неодолимо прочен,
как ни перечим, но всё-таки крыть нам
нечём –
нежным, податливым, влажным от слёз.
А впрочем,
прах после обжига в сущности столь же вечен.

СЛЕЗА

Мне кажется, я прожил жизнь в снегу,
в пространстве белом, скрытом ночью
тёмной.

Пытаюсь вспомнить в роще заметённой
зелёный сонм листвы – и не могу.

Я видел мир, на лёд стекла дыша,
покуда стужа ночь окон гранила.
Но мехом внутрь повернута, душа
под мертвым пеплом жар ещё хранила.

Как тысячи плетей, секла метель –
и сквозь неё, дрожа, летел мой поезд
отчаянный, в котором я хотел
настигнуть в ад смещающийся полюс.

А вслед скользила вся моя страна,
не расставаясь со своею тайной
в беспамятстве, в бреде – обречена
на вечный сон в гробу зимы хрустальной.

Спят прадеды в полях забытых битв,
под настом чёрствым, только воем выюги
оплаканы – за это, может быть,
нас Дант и поселил в девятом круге.

Глух сон долин, не помнящих травы.
И смутен вдалеке, как мысль о Боге,
огонь жилья, в котором спят волхвы,
из виду потеряв звезду в дороге.

Просторов этих отогреть нельзя –
и впредь здесь ни кристалла не растает.
Лишь оспину саднящую оставит
моя на снег упавшая слеза.

И ВСЁ ЖЕ

...и все же о вечном, о вечном,
о том, что превыше смертей,
о небе глубоком и млечном,
где звездная бродит метель,

о том, как в огромной природе
встречаются наши пути,
о том, как всё в мире проходит
и все же не может пройти.

О том, что чудес не бывает:
назначена гибель всему.
Душа, как свеча убывает,
но целится жалом во тьму,

чтоб даже и самая вечность
оттаяла на языке,
смирясь с тем, что теплится нечто
в мертвящем её сквозняке.

НОВОБРАНЕЦ

Я суетный и слабый человек,
как палый лист, какой-то дикой силой
и бит и гнут и возносим наверх,
где чертит метеор по стуже синей –
и памяти его короткий след
сгорает мигом в бесконечном поле,
где ни былинки состраданья нет,
где нет предела, то есть нет опоры.

Вселенная темна. Мне страшно в ней,
как новобранцу под стенами Трои.
Ужели, Боже, в армии твоей
перевелись великие герои,
и всех на этом жутком рубеже
их времени чудовище забрало?

Ответа нет. И без молитв уже
я опускаю на глаза забрало.



СОЛЯРИС

На распутьях былого,
в петле настоящего, в тёмных
измереньях грядущего –
тех же скитаний тоска.
Хоть на перекладных,
хоть на плазменных, хоть на фотонных –
толкотня, пересадки, на станциях нет кипятка.

Пляясь в призмы витрин,
закутками вокзальными шляясь,
продвигаясь к перрону, который выходит в астрал,
не горюй, пассажир:
объявили твой рейс на Солярис,
где тебя дожидаются все, кого ты потерял.

На неведомый берег их
ступишь, как в храм, покаянно.
Но искрящийся сумрак не знает суда и вины.
И поднимутся призраки
из темноты океана,
столь юны и прекрасны, какими и снились они.

Встанут стрелки часов твоих,
как на посту часовые,
не решаясь – вперёд, понимая, что поздно – назад,
словно мир здесь увидел
своё отраженье впервые
и застыл, узнавая. И медлит, не смея узнать.

В этом странном пространстве,
где звенья мгновений распались,
снова видишь дорогу, так переступай же порог,
эту кромку, черту, за которой колышется память.
Где сошёл с челнока – и отправился дальше челнок.

Но в какие бы дали потомки ни переселялись,
много дальше, на самом краю мировой синевы,
станет сны их вылепливать неумолимый Солярис,
безнадёжно взывая к утраченной ими любви.

ЖАКАН

В жестко тёртой по жизни тужурке,
забивая в казённый жакан,
«Нами правят придурки и урки» –
мне сказал завязавший жиган. –

«Но фартово, что все они хлипки,
потому-то тайга и цела».
Без досады сказал и улыбки.
И не тронули пальцы цевья.

А в табачных глазах – только холод.
Он пошёл, обгоняя меня,
по местам, где чужие не ходят,
где лесник всем в округе родня.

Были ели темны и обвислы,
ветер, трясший мутовками, стих.
Лишь ручей разговаривал быстрый
о камнях и порождцах своих.

Сопки встали, безлюдны и хмуры,
сторонясь человеческой судьбы.
Только раз в перелеске мелькнули
с проржавелой колючкой столбы.

Хвою блёстким закатом сжигало
по верхам. Но ещё дотемна
с золотыми глазами жигана
повстречались зрачки кабана.

С голодухи и просто для пробы
по шматку мы коптели в дыму.
Он смотрел – без добра и без злобы –
как предметы уходят во тьму.

На дотлевшие наши окурки,
на сгорающих мошек гурьбу.
На шеврон моей НАТОвской куртки
из столичных запасов БУ.

СТОИТ МНЕ МЕСТО ПОКИНУТЬ...

Стоит мне место покинуть,
снять, уйти навсегда,
все там пытается согнуть,
рухнуть, пропасть без следа.
Чьим-то пристрастием тайным
путь мой дотла обожжен.
Скверик наивных свиданий
скрепер срезает ножом.
Там, где, честны и картавы,
детства живут голоса,
дочиста сносят кварталы,
жгут и корчуют леса.
Пепел уже остывает...

Впрямь ли я жил наяву
здесь, где бетон одеваает
смятую нами траву?
Что за неведомый ветер,
словно пригоршню золы,
крохотный след человеческий
злобно сдувает с земли?
Свищет вселенская вьюга.
С давешней тропкой – простись...

Друг мой, запомним друг друга.
Больше никак не спастись.

*Стоит мне место покинуть,
снять, уйти навсегда,
все там пытается согнуть,
рухнуть, пропасть без следа.
Чьим-то пристрастием тайным
путь мой дотла обожжен.
Скверик наивных свиданий
скрепер срезает ножом.
Там, где, честны и картавы,
детства живут голоса,
дочиста сносят кварталы,
жгут и корчуют леса.
Пепел уже остывает...*

УВЯДАНИЕ ЗОЛОТОЕ...

Увядание золотое.
Чистой влаги пелена.
Птица плачет:
– Кто я?
– Кто я?
И не знает, кто она.

Может, это на просторе,
в звонком воздухе кружа,
далеко, за сине-море,
собирается душа.

Вдоволь в небе повитала,
в горних высях летних дней.
Что творится, повидала
на земле. И что – над ней.

Но не ведая покоя,
так беспомощно-умна,
всё рыдает:
– Кто я?
– Кто я?
И не знает, кто она.

ОТЧУЖДЕНИЕ

Я зарылся бы в землю, ощерясь на свет, как ДОТ.
Но приказано кем-то вперёд и вперёд ползти.
И, как вдоль монопольных путей РЖД, идёт
полоса отчуждения вдоль моего пути.

В её кущах не строят, не пашут и не живут.
И бурьяны её всё пышнее из года в год.
Лишь обходчик порою косит на ней траву,
да сажает под насыпью стрелочник огород.

А бурливая жизнь протекает вдали – и там,
за пустой полосой, пусть ей хватит своих забот,
потому что нельзя приближаться к таким путям,
как влезать на столбы со значком: «не влезай, убьёт».

ГИПЕРБОРЕЯ

Если я падал, ослабевал, болея,
ты исцеляла меня нежной метелью,
полумифическая Гиперборея,
где обитал я –
эхом легенды, тенью.

Тошно, как в карцере,
в замкнутом круге кармы.
Ты в нём лишь пыль,
если Бог не с тобою.
Ставятся судьбы на вере,
а не на камне,
ладится дом не мастерком –
любовью.

Выплюнут в мир
равнодушным наждачным лоном
ветхой империи,
Родиной мне не ставшей,
в Гиперборею сбежал я,
по-детски склонен
верить всему,
что наплёл о ней Плиний Старший.



Не по понятиям жил –
по заветным книгам.
Пел о стране волшебной по древним нотам.
Разве я знал, что и она под игом
кривды, спрессованной
тысячелетним гнётом.
Годы её разворовываются, как смета.
По накладным фальшивым уходят мимо.
Но бесполезно грозить ей концом света,
разве не это –
второе её имя?

Снег её так же витает, кружась, искрится,
словно фантазии и оболъщенья детства –
трижды наивен каждый,
кто думал скрыться
в них от уродства, предательства
и злодейства,
давшего всходы.
Скоро наступит жатва.

Память моя всё морознее, всё белее –
и навсегда в мерзлоту моих снов ложатся
братья надежды моей –
гипербореи.

НИБИРУ

Были годы, были эпизоды
в деле – и в мальчишеской судьбе.
Правили их серые уроды,
мрачные, как буквы КГБ.

Лишних приключений не искал я,
но вопрос закрыли без меня –
и побрёл я степью Забайкалья
дикой, как в былые времена.

Были годы, были переходы
дальние – по суше и воде,
по безлюдью... И такой свободы
более не встретил я нигде.

С той поры всегда она со мною –
где хочу, когда угодно мне,
я могу упасть в ковыль спиной
и следить за звёздами во тьме.

Там, среди ярких всполохов и зарев,
неподвластных тусклому стиху,
огненную букву вижу – Алеф,
помню: «Что внизу, то и сверху».

Млечный мост ведет к иному миру –
и под ним по глянцевой реке
боевая станция Нибиру
проплывает в чёрном молоке.

Вдруг и в ней, ведя расчёт орбиты,
сгрудились уроды у руля –
те же, только острыми, как бритвы,
жвалами беззвучно шевеля.

И они опять – таким что годы,
что тысячелетий череда –
захотят лишить меня свободы.
И опять не смогут, как всегда.

Потому что цели их и цепи
перед ней – космическая пыль.
Потому что небо – те же степи
и густые звёзды в них – ковыль.

ЗАВИСТЬ

О, зависть к пернатым,
плывущим по воздуху буре!
Мечта моя детская, ты по-прежнему голуба.
Я тоже птица, только крылами внутрь.
Летаю хотя бы внутри самого себя.

Там тоже стыннут пространства седых глубин.
Мгновенный полёт оставляет в них вечный след.
Там люди живут, которых я любил,
которых на свете, быть может, уже нет.

Но, едва надвигаются заморозки октября,
улетают птицы, чтобы в дальних краях спеть.
А мне от судьбы вовеки не улететь –
ведь я летаю только внутри себя.



НЕ ПРЕОДОЛЕЛ ПРЕД НЕБОМ СТРАХА...

Не преодолел пред небом страха,
но полезный навык приобрёл:
сплю внутри себя, как черепаха,
вижу сны, в которых я – орёл.
И всё безнадежней, беспробудней
погружаюсь в сон, как высь, пустой –
так и вся страна на нарах будней
спит ничком, но бредит высотой.

Столь ясна небесная обитель,
что ясней уже не может быть.
Лишь один малютка-истребитель
всё глядит, кого бы там убить.
Пролетел – и в колыбели синей
улыбнулась ранняя звезда
сквозь недолговечный, реверсивный
зыбкий след, ведущий в никуда.

ХОЛСТ

Видимо, движим суровым инстинктом пола,
прах, оживляемый доблестью, ищет поля,
честную смерть готовясь принять как милость
в образе рыцаря.

Впрочем, обличье – мнимость.
Нет ни врага, ни валькирий, кружащих топлес,
боли и гибели нет. Есть лишь прах и доблесть.

Прочее – рельсы, холмы, облака и волны,
замок зазубренный на горизонте мутном,
сам горизонт, смазанный мокрым утром,
зыбки, воображаемы, произвольны.

Всё в никуда – автострады, просёлки, тропки.
Тащится в пекло фура, но всюду пробки.
Жизнь осыпается с воза ключьями стога.

Строится башня.
Слепые бредут по луже.
Те, кто в себе обрести не умеют Бога,
всё ещё тщатся встретить его снаружи.

Все, кто надеялись, верили и хотели,
в жиге намерений не обрели опоры –
им невдомёк, что в единственном чистом поле
есть только прах и доблесть на самом деле.

Им что ни птаха – ворон, что пень – то плаха.
Сами они – химеры, придатки к фону.
В мире, где мало доблести, много праха:
он принимает – от страха – любую форму.

Вымысел бедный подписью подытожен.
Кончен пейзаж.
Персонажи готовы к бою.
Более холст никому ничего не должен –
или повинен перед одной любовью.

Радости здесь не наберёшь и горсти –
только и проку, что остаемся вместе
в поле, где рыцарь со смертью играет в кости.
И ничего на кону за ним, кроме чести.

БАЛЛАДА АВАТАРА

Теперь мы лишь импульсы вещей сети,
и въяве друг друга нам не обрести,
мы – души, зашитые в биты,
что непрезентабельно, как неглиже.

Зато я, невзрачный и старый уже,
по праву блуждающей чьей-то душе
являюсь готовым для битвы
таинственным рыцарем в белом плаще.

Где корни в траве перевиты
и конь утопает в тумане болот,
петляет мой путь, то по кручам, то вброд.

И дебри встают непроглядной стеной.
И плащ ниспадает. И тайна со мной.

Аккаунт безвестный, продолжим игру
с иконкой, в которой уж так ли я вру?
И в неоцифрованном ветхом миру
не насмерть ли бился со змеем,
шипящим, что жить мы не смеем?

Я, мучимый им и сбиваемый с ног,
не так же ли был на пути одинок –
без права на слово, без друга,
пока, пропуская удары мои,
не грянулась ниц, не наелась земли,
терявшая рьяность змеюга.

Она ещё дышит, лукавит, ползёт,
она ещё верит, что ей повезёт,
но помнит жильца моих ножен.
Всё думает, что я лишь лузер и лох
в кольчужке короткой и мерин мой плох.

Но змей теперь стал осторожен.
Он чует дыханье вселенной иной.

И плащ ниспадает. И тайна со мной.

ЭЛЬСИНОР

Здесь больше нет ни друга, ни врага,
ни подвигов – ни будущих, ни бывших.
Столь датские пологи берега,
что волны угасают, не разбившись.

Сквозь гвалт о том, такой ли, не такой
проложен путь, туда ли, так, не так ли –
неси, душа, прозрачный свой покой,
как чашу влаги, не пролив ни капли.

Всё трепетна – не лёд и не гранит
в ряду вещей. Но как он беден, Боже!
Ничем ни наказать, ни наградить
по скудости тебя не может больше.

Мертвы твои цари и палачи.
И над тобой лишь бездны небосвода.
Сподобленный не поле перейти...
Дальнейшее – безмолвие. Свобода.

К ОВИДИЮ

1

Все стихотворцы вечно ищут драки – и
всегда им что ни кесарь, то паскуда.
Потом строчат из Ликийи иль Дакийи.
А ты, похоже, вовсе ниоткуда.

Теперь притих, как мышь в норе, а ранее
все нарывался – не пойми на кой, но
удел пиита – скорбное изгнание
куда-нибудь, где глухо, но спокойно.

Богам перечить сложно – это первое.
Второе, что оно себе дороже.
Весь мир теперь – единая империя.
И ты изгнанник в никуда, похоже.

2

Никуда невозможно вернуться.
Вообще никуда.

А не веришь – рискни.
У разбитого сидя корыта,
посмотри, как в набрякшую дельту уносит вода
со вселенской тоски утопившегося Гераклита.
Хорошо, что ты сразу же взял и обратный билет.
Никому здесь уже ты не брат, и не сват, и не кореш.
Отправляясь назад,
запусти свой окурок вослед
многой мудрости,
лишь умножающей многую горечь.
Утешайся кургузою мыслью,
что кончили тем
простаки, и философы, и дурачки и провидцы.

Убывая туда же, откуда вернуться хотел,
снова оба конца оплаты – по старинной привычке.

MEA CULPA

Из чувств, что тобою, как порох и спирт, сожжены,
в конце выживает одно только чувство вины,
не жгучей уже, остывающей вместе с душою.

Среди фейерверков пылающих зла и добра
оно несгораемо в принципе, словно зола,
на поле, где тешились пиротехническим шоу.

Не грея, но блестя оно прогорело дотла –
и в этом вина, что душе не хватило тепла
для тех, кто любили её, берегли, выручали.

Но поздно скульпить им вдогонку: простите меня,
друзья и подруги, ушедшая к Богу родня.
Осталось искать искупления в острой печали.

Хранить её, словно обет – и в боях и в пирах,
нести её бережно и осторожно, как прах
всего, что угасло, что не согревая блестело.

Вот так, ни на миг передышки не притормозив,
валун одиночества на гору катит Сизиф,
без жалоб, поскольку привычка – великое дело.



МУРАВЕЙ

Зыблются тени травы, оживляя суглинок.
Пахнет зацветшей водой, разогретой смолой.
Зреет на отмели сонм лягушачьих икринок,
крутят стрекозы любовь над корягой гнилой.
Омут прошит водомерками,
темен и тинист.
Тихим течением мимо событий и дат
малых вещей величайшая невозмутимость
пусть нам сегодня опору и помощь подаст.

Пусть мы увидим, покуда кулиса метелей
на землю не пала,
как в крохотной жизни своей
тащит сквозь эру фальшивых и мелочных целей,
сквозь безнадегу –
громаду листка муравей.
Как на пути непроглядном грибница вскопала
почву лесную меж твердых корней.
Как из-под
грузного облака падает меткая капля
точно на лютик, в который и целил Господь –
ибо ничтожного нет у безмерной природы,
в каждой росинке она отразилась точь-в-точь.

Так и обучимся жить – без оглядки на годы
то ли застывшие, то ли текущие прочь;
вечен ли вечер, грядет ли времён перемена,
не разделяя с эпохой ни скорбь, ни восторг,
не отвечая за всё муравьиное племя,
лишь отвечая за свой неподъёмный листок.

КОРОВА

В сущности,
жизнь прошла при электрическом свете.
Но я встречал и рассветы раз пять-шесть.

Помню, однажды...
Рыскал голодный ветер
в поле ночном. Мне тоже хотелось есть.
Но хлеб мой был далеко. До него нужно
еще шагать и шагать по сырой стерне,
хлюпать подошвами – на авось, по черным лужам,
по непроглядной земле в узлах корней.

И – у самой опушки, за последним стогом,
вдруг заворочалось что-то, тяжело дыша...
Ужасом странным, смесью страха с восторгом
руку мою свело на рукояти ножа.
Нет, не рассудку я внял и не суеверьям.
Но нечто третье велело стоять, где встал.
Кем бы ты ни был, мрак, злодеем, зверем,
чертом самим –
вот он, я, вот моя сталь!
Пусть будет жизнь счастливой, а смерть
жестокой.
В короткой схватке поделим – что кому.
И я, ощерясь, хищную принял стойку.
Глыба тьмы подошла и сказала:
– Му-у-у!..

Я хохотал, как леший. Вдвоем до крова
мы добирались – верст за семь, в село.
Как на веревке, трусила за мной корова.
Пока шли, собственно, и рассвело.
В сосновых иглах захлопотали птицы.
Золотом радости зажглась в лугах река...

Лет через сорок я скучно умру в больнице,
дряхлый, при свете казенного ночника.

МОНСТР

Морское чудовище редко всплывает со дна –
и то лишь в ночи, никогда при сиянии дня.
Оно понимает, что значит остаться последним.
И это уже одиночеством трудно назвать,
когда в расставаниях с близкими сам виноват.

Последний – иное. Он между мирами посредник,
в одном из которых чуть теплится памяти свет,
в другом – нет ни близких, ни дальних, ни памяти нет,
есть только провалы и в них колыхание ила.

Последнее чудище дремлет пока ещё в них.
Но монстр иногда напрягает гигантский плавник
и вдруг устремляется к самой поверхности штиля.

Он видит луну и дорожку, ведущую к ней,
мощёную бликами. Видит огни кораблей
и яхт, залучивших полуночный ласковый ветер.
Но голову прятать в воде и не думает монстр,
он знает – никто не заметит, никто не поймет,
а кто и поймет, так своим же глазам не поверит.

Вот мимо скользит осеняемый музыкой борт,
несет пассажиров, оставивших бремя забот.
И вот – сквозь мелодию – девичьи ахи и вскрики.
На них отвечает уверенный голос мужской
как символ опоры над зыбкою бездной морской:
– Не бойтесь подруги, всё это лишь блики, лишь блики.



УЖЕ НЕ ПОМНЮ ПОЧЕМУ...

Уже не помню, почему
я полюбил деревья эти,
по щиколотки в снегу,
тропу, ивняк на берегу.

Невинны – но ведут во тьму,
они, как дырочки в кларнете:
как будто есть в любом предмете,
о чём я вспомнить не могу.

Я их перебирать начну –
молчат.
А прежде им звучалось.

Такой, наверно, будет старость –
мотив забыл, печаль осталась,
уже не помню почему.

БУРЬЯН

Вступал октябрь в исконные права,
листва слетала наземь, холодало.
И небо обретало блеск металла.
Но в этом поле жёсткая трава
стояла насмерть, точно рать стояла.
Она была огромна и густа,
шептала, как незримые уста,
качалась, сплетена, простоволоса –
и больше человеческого роста
была бурьянов диких высота.

Не стебли, но стволы уставший мять,
я заплутал, сквозь заросли ломясь,
шарахаясь, шатаясь, как по пьяни,
исхлёстанный, облепленный репьями –
и поминая душу, Бога, мать,
запутавшись, упал среди растений,
сминая скань листков, соцветий, терний.

А день был ярок, сквозь траву светясь.
И я себе сказал: когда б сейчас
навек прервался бег бесцельный твой,
ты мог бы стать такую же травой,
упрямо восстающей век от века,
скрывающей поля забытых битв,
не помнящей желаний и обид,
всегда свободной – от корней до верха.
Пить сок земли и поднимать листья
к светилу, как взыскующие руки,
в надежде пониманье обрести
как дар небесный, а не через муки...

Я все же встал и, продолжая путь,
крушил тенёта дебрей шагом резким,
пока совсем не вырвался из пут
и вышел к жёлто-алым перелескам.
Взбодрился было, но внезапно сник
и брёл, сутулясь в зарослях лесных,
по бурелому и распадкам мокрым,
уже не веря в мыслящий тростник.
А может, зря не верил.
Там посмотрим.

ГЛУП И ГОРДЕЛИВ...

Глуп и горделив,
поджидал прилив
и кидался вглубь с глыб.

Пылкий, молодой,
плыл я под водой
и смотрел в глаза рыб.

В тусклой глубине
отыскал на дне
лампу, где дремал джинн.

С разумом змеи
я достиг земли,
но уже прошла жизнь.

Знаю, но молчу.
Даром не кручу
памяти цветной клип,

обречен и впредь
аспидом смотреть
в снулые глаза рыб.

Творческий тандем
Васильев/Чурдалёв:
музыкально –
поэтические
композиции.
[youtu.be/
SWyDwrXaLUo](https://youtu.be/SWyDwrXaLUo)



ЖИЗНЬ

Лет двадцать я об этом человеке не слышал ни полслова, ничего. А все же вспоминал о нем порой, с чего – невесть. Мы не были дружны, лишь бегло и поверхностно знакомы. Раз несколько пересекались вскользь на суетных тусовках полусвета, да как-то пили вместе пиво – в мае, на пристанях спасаясь от жары. Меж нами точно не было приязни, но явно тлел взаимный интерес, ревнивый и недобрый, точно мы на роль одну в провинциальном театре претендовали... Плотная, как студень, взрезаемая бритвами винта, пред нами неумная вода влекла к низовьям несколько посудин. Простор высот блистал. Река жила обыденнее – и вдали, и близко, в виду кормы, где шкипера жена постиранное вешала бельишко, где рестораций голытьбе милей за то сдвигать пластмассовые чарки, что к нам с незамерзающих морей опять вернулись взбалмошные чайки.

Лет 20 я об этом человеке – ничего не слышал ни полслова – ничего. А все же вспоминал о нем порой, с чего же невесть. Мы не были дружны, лишь бегло и поверхностно знакомы. Раз несколько пересекались вскользь на суетных тусовках полусвета, да как-то пили вместе пиво – в мае, на пристанях спасаясь от жары. Меж нами точно не было приязни, но явно тлел взаимный интерес, ревнивый и недобрый, точно мы на роль одну в провинциальном театре претендовали... Плотная, как студень, взрезаемая бритвами винта, пред нами неумная вода влекла к низовьям несколько посудин. Простор высот блистал. Река жила обыденнее – и вдали, и близко, в виду кормы, где шкипера жена постиранное вешала бельишко, где рестораций голытьбе милей за то сдвигать пластмассовые чарки, что к нам с незамерзающих морей опять вернулись взбалмошные чайки.

В те годы бомжевало полстраны, как бы ко дну идущей от пробоин. И в трюме было место нам обоим, а в шлюпки села свита Сатаны. Мой собеседник метил отбывать на ПМЖ в Канаду или Штаты, уже не помню... С этим и пропал навек – с загромождённых бытом палуб, на коих я остался мельтешить, насвистывая бодрый «Wind of Change» от Scorpions, тогда ещё не дряхлых.

Но изредка знакомец мой всплывал в сознании – как будто некий спор меж нами не был кончен. Я при этом наглядно представлял его – у дома с достатком средним, с членами семьи, лопочущими на чужом наречье. И, мнясь мне мельком, он старел по мере старенья моего, седел, обрюзг да, кажется, завел торговый бизнес в каком-то захолустном городке. Недавно – и случайно – я узнал, что двадцать лет назад его не стало в нелепом ДТП под Пермью, что ли... Короче, он недалеко уехал. И призрачная жизнь его была не более чем странную игрой неведеньем обманутых фантазий.

А все-таки она была. Была. Текла, как воды, то едва, то ходко. Пусть лишь внутри чужой судьбы плыла её насквозь придуманная лодка. Так жизнь любая, как ни будь долга, дробится в отраженьях на просторе, где «Я» свои теряет берега, незнамо где... или под Пермью, что ли.

ЗАТМЕНИЕ

В наших широтах затмение не было полным.
Половинка солнца продолжала слепить,
так что никто ничего так и не понял.
Жизнь катилась, не умеряя прыть.
Только птицы метались, подняв тревогу,
в стайки сбиваясь, вопили: «Беда, беда!»
Да наждачной рябью покарябало Волгу,
трудно освобождающуюся ото льда.
А толпы шагали строем, не поднимая лбов,
на которых явственно – более или менее –
обозначалось: деньги, война, любовь
и – затмение.

Но подступала ночь, как безумный дервиш,
шляющийся по весям, напугать стремясь,
и вопрошала:
– Что ты делаешь, с кем ты делишь
лозунги хором, и водку, и в ногу марш?
Убереги одиночества дар бесценный.
Слезы – от ветра – в щеки свои вотри.
Двигай домой по аллее люминесцентной,
столь же холодной, как и ты внутри.
Всё тебе до фонаря – даже смета
за электричество. Именно потому
не выключаешь в прихожей света,
чтобы не возвращаться в тупую тьму.
Ужинай, как святой – медом с акридами.
Сон занавесит разум, тайны тая.
И поплывет перед глазами полузакрытыми
жизнь – полупридуманная, полузабытая,
как бы твоя.

ВЕСНА В ЗООПАРКЕ

Кажется, выходные прошли не зря.
Тальми струйками зиму почти что смыло.
И мы бродили по лужам среди зверья,
прячась от дикости и озлобленья мира.

Чётко налажен честный животный быт,
каждой из тварей место свое в котором.
Только не определившийся овцебык
вялую жвачку жуя, размышляет – кто он.

К вечеру подморозило. Чахлый снег
выжжен помётом под шапито небесным –
крытых вольеров не хватает на всех.
Тёмные грифы примёрзли к своим насестам.

А в застекленных джунглях – возня и гвалт,
бестий диковинных шастанье деловое.
Нас отличает от них лишь умение лгать
да чуть иная манера рыка и воя.

Отбывали в сумерках – к ужину и ко сну.
Пали в перины, поторчав за столами,
перед панелью, всё сулящей грызню,
всё мельтешащей растерзанными телами.

СНЕГА ЧРЕЗМЕРНЫ, КАК НА ВЫРОСТ...

Снега чрезмерны, как на вырост,
на детских плечиках земли –
и лишь нагих деревьев сирость
среди бесчувственной зимы.

Лелеял взгляд любую малость,
на белом вкрапленную чернь...
А дальше небо начиналось,
чтобы не кончиться ничем.

Кощей-февраль, угрюмый месяц,
лизал оконное стекло.
Нижегородские предместья
в дымы укутались тепло.

И деловитый, как стекольщик,
резец ведущий по стеклу,
пыхтел усердный ледакольчик,
кроя хрустальную Оку.

Едва сугробы приминали,
они наваливались вновь,
послушно формы принимали
прохожих, скверов и домов.

И всё, что живо в человеке,
с его любовью и тоской,
светло запечатлялось в снеге,
кружащемся весь день-деньской.

ВЕТВИ

Ничего печальней нету,
если налегке
кто-то движется по снегу
в белом далеке.

Встала снежная кромешность,
зренье одолев.

Лишь деревья.
Да, конечно,
как же без дерев.

...Сквозь темнеющие ветви
путь его пролёт.
Полно,
правда – человек ли?
Больно уж далёк...

Дальше, чем хватает крика,
пуст блестящий наст,
словно вытекла соринка
со слезой из глаз.
Вправо, влево или прямо –
нету ни следа.
И кому здесь взяться, право,
что за ерунда.

Кем-то был и я замечен,
только что с того?
Лишь деревья.
Да, конечно.
Больше – ничего.

ДНЁМ ТАЯЛО...

Днём таяло, а ночью снег валил,
им, как бинтом, проталины покрыты.
Зиме довольно сажи да белил
на аскетичной, словно пост, палитре.

А более не надо ничего.
Пусть небеса, белесы и бездонны,
возложат на горячее чело
студёные и бледные ладони.

Что время лечит – полное враньё.
Вся наша боль при нас – и с прежней силой.
А всё же годы делают её
привычной, стало быть, переносимой.

Она ещё живет во лбу, свербя,
но истекает срок по приговору,
уже давая шанс простить себя
и отпустить, как узника, на волю.

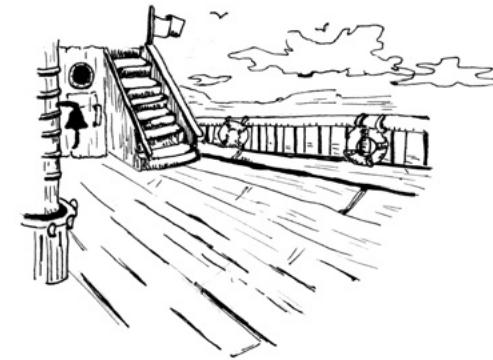
Там, за колючкой памяти, – поля,
поля, и никуда из них не деться,
поскольку нет краев. И нет тепла.
Зато они чисты, как сны младенца.

Пусть это будет холст или дневник,
стопа страниц, что нитью дней прошиты –
для тех, кто вновь начертит жизнь на них,
пытаясь перемаривать ошибки.

ПАЛУБА

Ночная палуба,
за ней кромешный мрак.
Вперяясь за морёные перила,
волны внизу не различить никак,
и судно словно на весу парило,
во тьме, без бликов, звёзд и маяка.
Но мы каким-то чудом различали
в глазах друг друга всполохи печали,
хотя она была ещё легка
и в ней тогда тепла ещё хватало,
как в музыке, которая витала
над морем, прилетев издалека.

Сперва лишь слово вложено в уста,
земля же вся безвидна и пуста.
Я понимаю, что это такое,
и убедился много лет назад,
что лишнее способно исчезать,
двоим оставив малый круг покоя,
в котором, даже слов сказать не смея,
мы знали рай – без древа и без змея.



Тогда я научился выключать
докучный мир, как скайп или как чат,
как видео или на сцене рампу,
гасить его одним щелчком, как лампу,
чтобы не видеть лишнего кругом,
тьмой укрывая судно, на котором
не преломляют хлеба с дураком,
всегда кипучим, со лжецом и вором.

Покуда нас восход не ослепил,
да будет тьма – и мы вдвоем у борта.
Я есть лишь то, что искренне любил,
всё прочее – суть скорлупа, обёртка,
чтоб, даром не засвечивая чувств,
плыть медленно, незрячих взглядов мимо
на палубе, качающейся чуть,
в ночи, её скрывающей от мира.

СОЧИНЕНИЕ

Шорох веток в школьном дворе
шепнёт: глянь, сдан валет –
тополь в луже двойника обрёл.

А завтра – заморозки. Игре
отражений – конец.

Уткнись в тетрадь. Войди в роль
прилежного.
Очнёшься – спилен тополь и колец
годовых сомкнулась гладь.

Тему «Мой класс через двадцать лет»
мешала раскрыть прядь
девочки, в чей затылок я дышал,
словно протаивая слой льда.

Когда расширяющийся шар
времени лопнет во мне – куда
это канет?

На пятаке, возле ДК,
стаяка валяющих дурака –
патлатых парней –
а мимо текла река
портвейна № 72. По ней
проплывали квадратнорожие дяди
типа «Ура!»

Мы смыкались вокруг воображаемого костра,
словно россыпь спекалась в слиток.

Мой класс через двадцать лет,
держись, брат.
Двое спились, один утонул в Оке.
Фотографии выцвели,
но ряды тесных парт,
как на парад, выстраиваются во сне.

За третьей в левом ряду
с кудряшками на виске –
та, что всегда затылком ко мне,
отличница.
Меня не видно за ней,
но вот это – часть плеча
моего, мой рукав.

Я с тобой, мой класс через двадцать лет.
Нас педсоветы уже не разлучат.
Им не раззять годовых колец
даже спиливая,
не то что уча.

ВО МНЕ

Пройдут черёмуховые холода,
и подвенечных дерев гряда
без сожалений убор свой скинет.

Пусть всё, что есть во мне, навсегда
пребудет здесь и вовек не сгинет.

Во мне плывущие облака,
круженье павшего лепестка,
биенье блика в речной волне,
сама медлительная река,
текущая, точно жизнь во мне.
Нет грани между «внутри» и «вне».

Во мне гремящие города,
впотьмах искрящие провода,
сады, притихшие до рассвета,
как мой слабеющий пульс – но это
во мне черемуховые холода.

В них люди бродят, раскрыв зонты,
поскольку небо моё клубится,
в нём изменяется всё так быстро.
Но капли, павшие на цветы,
да будут после сиять, как днесь.

Когда Господь мне оформит визу,
однажды этого не увижу.
Но это всё остаётся здесь,
как тучи, травы, холмы и рощи,
как выдох каждой случайной строчки,
в ночи, что за полночь бледновата,
едва луною украсит чернь.

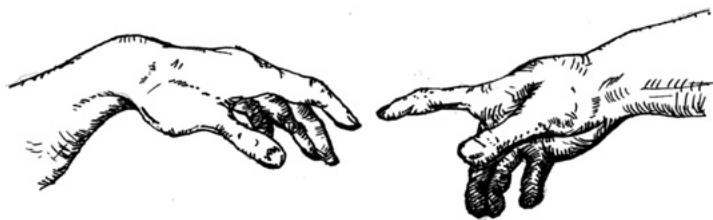
Я только этим и был когда-то.
А больше, кажется, и ничем.

ПОДАРИ

Подари –
безоглядно и с ходу,
без прикидок, расчётов, торгов.
Пусть добро, брошенное в воду,
самых дальних достигнет берегов,
где его кинет под ноги прибоем
тем двоим, кого возлюбит вода,
чтобы поровну досталось обоим
навсегда –
если было бы «всегда».

Всё минует –
и опять повторится,
пусть не в точности, не скоро, не здесь,
ибо к радости тропинка терниста.
Но она в чащобе есть.
Точно есть –
к долу, где бесшабашный и бражный
карнавал, кипящий ночи и дни.
Да, я видел рай, веселье и братство,
видел свет, излучаемый людьми.

И любовь, окрылявшую над бездной,
над оскаленной гибелью на дне.
Беззаветную преданность и нежность,
ни за что достающиеся мне.
Счастье – дело не жребия, но Дара,
даже если мир жесток или груб.
Потому и улыбнусь,
упадая
в одиночества лиловую глубь.



ЛИМБ

Маховиком раскручена Земля –
и в механизме из деталей стольких
зазоров нет,
как нет добра и зла
между зубцами шестерён жестоких.
Не более, чем смазка, мы в цене.
Тверды железных русел наших стены.

Но я найду однажды дверь в стене.
За ней – травы лепечущие тени.
День кончился – и юная луна
в померкших небесах, как коготь Бога,
финал его отметила, двурога.
Уснули птицы. Дальше – тишина.

Ни звука, ни строки не унося
оттуда, где осталась боль тупая,
прости мне, друг, что памяти нельзя
с собою взять, порог переступая.
Что я с тобой не повстречаюсь вновь
в том полумраке, призрачном и смутном,
где вечный вечер, не сгущаясь в ночь,
становится рассветом – но не утром.

Где есть долины, рощи и холмы,
но нет надежды – значит, нет и боли.
Где я скитаюсь в сумеречном поле,
отвержен светом, не принявший тьмы.

ПАЛОМНИК

В монастырской гостинице –
ни телевизора, ни интернета.
Из пропащего света ты здесь не откроешь ни файла.
За окошком –
простыли уголья истлевшего лета.
С тем, кто верит, святые со стен говорят без вайфая.

А захочешь курить –
облачись и ступай за ограду.
Но и там не уйдёшь от пригляда отца Серафима.
Дальше –
меркнувший лес, как натура для мрачного фильма.
Дальше сплошь буераки, овраги.
Но дальше не надо.
Там уже обживается тьма.
За намоленным кругом
ты, ослепший, один на один с первобытным испугом.

Там как будто бы крылья хлопочут и тени лепечут.
Иномирные силы хрустят омертвелой листвою,
не из тех, что в протопленных избах вздыхают за печью,
а такие, что крови взыскуют – досыта и вволю.
Всякий куст в темноте страховидные образы примет.
Но мой слабый фонарик уводит меня за периметр.

Я иду –
повинуюсь чему-то, что больше и выше,
сам себя убеждая, что попросту тешусь игрою
в стороне, где погибли лишь трусы, свихнувшие выи,
потому что обходят её храбрецы и герои.
Это вроде душевной болезни –
стремленье наружу,
из облатки добра и тепла – в неизвестность и стужу.

По дороге осенней, седой осеняем луною,
на которой, как прежде, отчётливы Авель и Каин,
ковыляю.
Пустынная чаща сомкнулась за мною.
Но Учитель в пустыню и сам уходил –
ради прений с лукавым.
Мне привычны пути в темноте, посреди бурелома.
Страшно лишь, что во храме я гость, а во мраке я дома.

Здесь пора над собой усмехнуться – да полно, да ладно.
Поблудила овца – и к родимому стаду обратно.
Под покровы добра и покоя, где пеньё и ладан.
Помолюсь как умею
и свечку поставлю – за брата.

ЧТО ВИДИШЬ, ДРУГ?

Что видишь, друг?

Сквозь тьму кромешных век
в какие сны предпочитаешь падать,
плутая в анфиладах фильмотек,
случайно именующихся «память»?

Чем утишаешь боль сердечных бед?

Что ищешь среди пыльных отделений,
где сладострастья судороги – и бред
то ревности, то пылких вожделений?
Уже угрюм, но всё ещё здоров,
зачем ты раскрываешь их всё реже...

И почему, ища опоры, вновь
ты крутишь кадры всё одни и те же:
там день померк до верхнего венца,
там, на холме, домишки крепкой кладки...
Ещё издалека узнав отца
по резкой и ритмической повадке,
там девочка трехлетняя бежит,
ножонками неловкими мелькая –
шажками, как стежками, путь прошит
в лог, тенью полный,
точно глубь морская.

Он жуток, лог, простёртый далеко,
травой плещет, шепчущей и мгливой.
И лишь тому сойти туда легко,
кто движим силой искренней и чистой,
кто видит жуть, да мыслит не о том,
кто волен встать над долом страхов плоских,
кто детски верит, что вернётся в дом,
паря над мраком на плечах отцовских.

Ты видишь сон.
Спадает жар во лбу.
Те сумерки, как нынче далеки вы...
Но ты любил – и нес свою судьбу,
и был любим.
Всё прочее – архивы.

НЕ СЕЙЧАС

С детства не наставили на путь –
к старости и то не вышло толка.

Может быть, потом, когда-нибудь,
когда стану музыкой – и только.

Ляжет на уста мои печать.
И к моменту нашей новой встречи
выучусь капелью отвечать
или плеском рек, забыв о речи.

Или стану я морским китом,
шумно выпускающим фонтаны,
в чем и способ пения кита. Но
не сейчас. Когда-нибудь. Потом.

Может, обучусь в листве свистеть,
с трелями справляясь непростыми,
или погремушкой на хвосте
возмущать безмолвие пустыни.

Каждый звук для внимлющего – знак.
Залп грозы ли, или зрелый злак
малое зерно уронит наземь,
всё поёт – и каждый не напрасен,
так что стоит жить не суетясь,
слушая, как дождь шуршит по крышам,
ведая, что будешь сам услышан –
просто не сегодня. Не сейчас.

ВОДОПАДЫ (исландские файлы)

Я видел нашу Землю молодой,
не осквернённой, пылкой и наивной,
не погранною ни одной ордой –
в Исландии,
Атлантикой хранимой,
бескрайней и студёною водой.

Там нету толп.
Отели пустоваты.
Лишь стайками туристы-азиаты
на улочках пасутся иногда.
Но вот экскурсовод им чудо явит –
и снова отойдёт ко сну Рейкьявик.
Вся жизнь –
в долинах, средь огня и льда

Люпинами заросшие поля
лиловы – и за ними, как пила,
нагроможденья зубьев из базальта.
А дальше –
ледниковая гряда,
где ночь не наступает никогда
и не имеет смысла слово «завтра».

Под лавой пузырится кипяток,
но водопады с гор несут поток,
от горних льдов – на жаркий пламень ада.
И тотчас остывает в недрах пыл.

Так, умеряя боль, я тоже пил
целительную влагу водопада.

За тридевять земель,
в родном краю,
всё чудится его бессонный гомон,
как будто вновь в урочище стою,
где я поверил в эльфов, троллей, гномов.
И дело не в обилии красот,
но в странном чувстве рубежа, порога –
как бы со света этого на тот
мне дали заглянуть ещё до срока.

Туда, где твердь последнюю кроша,
Господь помедлил,
расслабляясь праздно,
уже не горячась и не спеша.

Где остывает жаркая душа
ото всего, что было зря, напрасно.

Где дни – как жемчуг.
Облака громадны.
Прохладный ветер – просто для игры –
гранит в лагунах льды, как диаманты.
И грани голубые их остры.

Я больше не взыскую в мире правды.
Теперь мне чистота нужна одна,
являющую глубину – до дна.

И пусть во снах грохочут водопады.
Их рокот для меня – как тишина.

Исландия,
2019 год.



ВЕРТЕП

Сперва младенцу поклонилась мать,
за ней – осёл с волком. Простонародье
в обличье пастухов –
уже потом. И много позже
к нему явились мудрецы, цари
с дипмиссиями, плюхая в навоз
ларцы весьма уместных благовоний
да золото, которое – увы! –
иной судьбы Иисусу не купило.

Мгла ночи мир давно заволокла,
но свет играл в хлеву, как в тронном зале.
Осел и вол смотрели из угла
на факелы покорными глазами.
Приплясывали тени на стене.
Спеленутый ребенок спал на сене.
Темна, тиха земля была во сне.
И лишь Звезда сияла надо всеми.
С рассветом в путь пришла пора волхвам –
задами пятясь, покидали ясли,
довольные, расселись по верхам
и двинули верблюдов восворяси.

Животные, тудяги-простак,
к ярму вернулись, к будничной работе.
Тащил телегу вол, осёл – тюки.
Но в этот день полегче было вроде.
Хотя никак не сбился ход планет.
И твердь не уподобилась перине.
Спасенье есть, а избавленья нет.
Всё так же остаётся и поныне.

Звезда померкла. Цезарь за неё –
в далёком Риме блещет с Палатина
и всюду рассылает, как лучи,
сверкающие сталью легионы.
Цари к его стопам слагают дань,
ему слагают гимны кифареды.
Согласны все – Октавиан велик.
А всё-таки скотина ближе к Богу.

КОЛЬЦО

Еще не сутулый в плечах,
ещё не научен печалью,
швыряющий с ходу:
«прощай»,
не помнящий слова «прощаю»,
по новой созвавший на пир
ватагу, как только проспался,
он в скупку отнёс и пропил
кольцо с безымянного пальца.

Бывалый подсказывал друг
и вторили пьяные рожи,
что надо загнать было с рук
и это бы вышло дороже.
А он бормотал до зари,
покуда орали и пили,
что с рук бы кольца не купили,
ведь там её имя внутри...





**Владимир Безденежных,
друг, поэт, член Союза
писателей России.**

Я ПОМНЮ

Игорь Чурдалёв был первым настоящим поэтом, с которым я познакомился лично. Была середина 90-х. Я был молод, нагловат. И если что-то и пописывал своё лирическое, то глубоко в стол.

Игорь был величина! Он был знаменит и прекрасен. Он красиво одевался, красиво курил, красиво говорил. Он был умён и смел. В Нижнем Новгороде его знали все. Его стихи печатали в «Юности». Его книги были в библиотеках. После первого недолгого разговора Игорь отдал мне ключи и документы от служебной «Нивы» и сказал, чтобы я забрал её со стоянки и с утра приезжал за ним. Поедем работать.

Я помню.

Мы поехали. Так Игорь Чурдалёв стал моим начальником на несколько лет. Не ду-

ховным гуру, не мастером по таинству плетения словес, не проводником в «горний мир» литературы, а «шефом», «руководителем», «командиром», который платил мне зарплату. И ещё он стал мне другом, старшим товарищем. Игорь был отечески добр, приятельски щедр: ножички, кожаные куртки, джинсы, ремни, часы... С ним было чертовски интересно. Было весело.

Я помню.

Очень крепко он охранял только некое «своё пространство» – этакое расстояние допустимой «близкости» вокруг себя. Нарушать которое было нежелательно, а то и опасно: Игорь мог и врезать. С левой. Он хорошо понимал, что такое человеческое достоинство. Планка его собственного достоинства была высока. Для некоторых необъяснима и не-

достижима. Он был честен от слова «Честь». И требовал того же от других. Был ли он гордецом? Нет. Игорь был честен. До внутренней боли. Я видел это.

Я помню.

Игорь Чурдалёв остался для меня первым поэтом. Навсегда первым. Лучшим. Любимейшим. Сам не ведая того, он стал для меня и «гуру», и «мастером», и «проводником». Потому что все эти годы я втайне от него внимательно следил за ним. Следил, как он работает. Заглядывал через плечо. «Снимал» его речевые обороты и фразы. Читал случайно оставленные черновики. Учился... Плохо учился. Потому что так, как он, всё равно не смогу никогда. Но мне случилось в жизни увидеть таинство творения, истинное волшебство...

Я помню.

РАССТАВИТЕЛЬ
ТОЧЕК

*«Кто он, расставитель точек,
Плоской вечности учетчик?
Может быть – и я».*

Игорь Чурдалёв

С первых минут нашего общения стало понятно, что мне выпала редкая удача получить доступ к огромному пласту знаний и культуры, носителем которых был Игорь Чурдалёв. Речь при этом не шла об энциклопедической осведомлённости, нет, но о каком-то глубочайшем, буквально космическом понимании сути вещей, смыслов и взаимосвязей.

Он доступно и лаконично мог раскрыть практически любой вопрос и действительно ставил точку, означающую полную капитуляцию проблемы перед ясностью



**Елена Степасюк,
друг, организационный психолог, HR.**

его ума. Беседа обычно шла неторопливо, но когда речь заходила о его актуальных интересах, неспешный разговор превращался в действие. Он закуривал, собирался, как бы группируясь для прыжка, и... «Понимаешь, Лена...» – начиналось волшебство. С вопроса о декабристах или Гамлете воронка разговора стремительно разрасталась, охватывая древний Рим, Сенеку, потом могла переключиться на цитаты из «Жития протопопа Аввакума» и выдыхалась, к примеру, на «Девушке с жемчужной серёжкой».

Иногда в процессе очередной лекции я теряла нить разговора, позволяя себе отключаться и просто любоваться его увлечённостью, уверенностью, интеллектуальной мощью и наслаждаться эстетикой речи. Такой фактурности и красоты языка, как у Чурдалёва, никогда прежде

я не встречала и впервые столкнулась с тем, что стилистика речи оказалась самостоятельным мощным фактором воздействия, вызывающим эстетическое и интеллектуальное удовольствие.

У меня осталась аудиозапись, сделанная за две недели до его смерти, где мы говорили – вернее, он говорил – о «Сталкере» Тарковского – долгие паузы, одышка, голос слабый, но всё та же чурдалёвская чеканность мысли, весомость каждого слова и обязательный финал беседы как абрис всего сказанного.

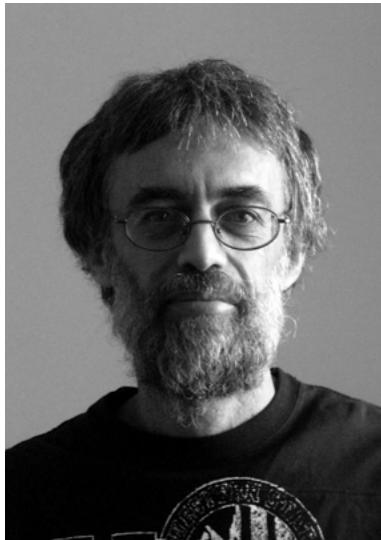
Эта запись, лекция по ар-деко, записанная мной простым карандашом на тетрадном листе, его интонации, фразы и выражения, прочно прижившиеся в моём лексиконе и манере говорить, – мой кусочек космоса Игоря Чурдалёва, который я бережно храню в память об удивительном человеке.

ПАМЯТИ
ИГОРЯ
ЧУРДАЛЁВА

Привет, Игорь!

Египтяне верили, что название по имени воскрешает человека к жизни. Поэтому ещё и ещё раз: Игорь, привет! Как ты там? Здесь, как ты понимаешь, мало что изменилось: мир пока стоит, хоть и слегка покосился, люди ни лучше, ни хуже не стали – ты их довольно близко узнал. Вот зима снежная выдалась...

Мой старший товарищ (конечно, старший, а как же: «Школьник седеющий...»), когда-то ты напугал меня магическими строками: «Как бы печальные японцы Нарисовали нежной тушью Озябшее сырое солнце, Едва заметное сквозь тучу...» или «Ничего печальней нету, Если налегке Кто-то движется по снегу В белом далеке...». Ну и ещё ты производил впечатление такого ироничного Зевса своей литстудии «Марафон», куда я пришёл в 1985 году. Впрочем, сразу почувствовалось, что «японцы» – тоже ты,



Михаил Воловик,
доктор биологических наук, поэт,
член Союза российских писателей.

а не только бунтарский задор, брутальность и прочие штампы. И ещё говорят: никому не расскажешь.

Позже испуг прошёл, а стихи остались и оказались сердцевиной образа «Игорь Чурдалёв, поэт»: «Мир проявляется с рассветом, Как дилетантский фотоснимок: Всё зыбко в нём. И все предметы Просвечивают сквозь друг друга...». Больше не буду цитировать, все последующие вещи слились с образом, а те, что моим ожиданиям не соответствовали, просто прошли на выход, как экскурсанты из музея. Как-то ты, Игорь, прогулялся по экспозиции в моей голове довольно по-хозяйски: и экспонаты потрогал, к некоторым таблички переписал и даже мебель подвигал. Мало кому довелось со мной так, мало кому доверилось. И мало кому доверялось – многими, кто попал в круг твоего влияния.

Знаешь, разговор с тобой, как в прежние времена, настраивает на философский лад: многого не требовать, на имеющееся не жаловаться. Люди – образы в нашем сознании, а если чем ему не по нраву, не больно и надо, пусть только

отойдут. Зато если уж совпало, пиршество общения будет возобновляться при каждой встрече, и градус его будет высоким, и публика ему будет не нужна. Жизнь сама по себе – непубличная, глубинная штука.

И теперь, Игорь, мы идём параллельными путями и важное помним, а лишнее забываем, и веет вечностью от воспоминания мотыльков, бьющихся под лампой в «Триклинии», где летней ночью ты читаешь монолог Импровизатора из «Египетских ночей». Это мгновение остановлено тобой – как внезапный горячий дар для меня и ещё двоих присутствовавших, и послевкусие от него оказалось более долговечным, чем знакомое всем нам недолгое воодушевление после прекрасной музыки или патриотический порыв после военного фильма. Мне кажется, я тогда уловимо изменился. Как и те не названные мною двое других.

А так – нет, Игорь, люди не меняются. Пока им не повезёт встретить на своём пути кого-нибудь, подобного тебе.

В общем, пока, Игорь! Не прощаюсь надолго, увидимся!

ЛЕГЧЕ ВОЗДУХА



КОРАБЛЬ ДУРАКОВ

Скучен был мальчику жизни обшарпанный фон.
Он рисовал звездолёты немыслимых форм,
не замечая, что все мы давно улетели.
Жизнь истлевала,
а с нею его чертежи.
Сам он усвоил на палубах улиц чужих,
что путешествие –
дело не средства, а цели.

В смутных пространствах куда-то плывут города,
и, может быть,
он один понимает – куда,
но не спешит выдавать пассажирам секреты.
Слыша, о чём напевает пассат в парусах,
с мостика-лоджии
он, в капитанских трусах,
путь указывает армаде огнём сигареты.

Прочие в уши залили аттический воск.
Все, кого принял на борт Иеронимус Босх,
спят –
у орудий, готовых к последнему бою,
в трюмах прогорклых,
где дрыхнут, кто шконки урвал,
в глянцевых рубках,
где верят, что руль и штурвал
всё ещё как-то сообщаются между собою.

Вот он решает:
а впрочем, хоть к дьяволу в пасть!
Вот он докурит – и тоже завалится спать,
к звёздам сусальным
кварталов дредноуты двинув.
Но презирающим цели не светит облом,
путь им – отчизна и гавань.
И с их кораблём
тайны Вселенной играют,
как стая дельфинов.

АНАША

В насквозь проштемпелеванной дали
подшитой к делу, лишь её открыли,
два года приснопамятных прошли
в глухом стройбате, где тайком курили
продукт из криминальной конопля.

Дымок был жирноват, как от мангала,
и синюю все подергивал окрест.
По всей стране плыла фата-моргана,
один генштаб был беспросветно трезв.
Он клал на нас –
жестянку транспорта.
Ведь не его пинали дембеля
на желтом льду щелястого сортира,
за то, что жизнь – жестянка, падла, б*я!

Спасибо –
хоть и щурился спесиво,
да не оставил азиатский бог.
Садилось солнце на хребты массива,
как старый караванщик меж горбов.
И был пожар.
И все казармы мира
пылали ярче, чем в ночи стога.
Была затяжка и глоток чифира.
Цвели дрова, и был закон – тайга!



Был долгий пир годов.
Пускай нечасто,
был зван и я – любимым, молодым.
Пил водку горя и шипучку счастья.

Но вот дополз и до генштаба дым.
Восток как бы дремал себе в затишье,
покоясь в упомянутых горбах.
Но прибывали младшие братишки
оттуда в оцинкованных гробах.
И ты, мамаша пьяная, Россия,
с погубленным сынишкой на руках
от слёз своих трезвея, голосила.

Один генштаб ловил свой тихий кайф.
Музыка полковая даром тщилась,
зазря гремел оркестр магнитных мин.
Торчал генсек. Политбюро тащилось.
Балдел госплан. И улетал совмин.
Паленым мясом пахнет южный ветер.
Зависшая над пропастью во лжи,
скажи, страна кто спросит, кто ответит?
Очнись, страна обкуренных! Скажи –
где твой пророк?

...в чаду по ресторанам
роняет пену запоздалых фраз –
погонщик строк, идущих караваном
через пустыню пересохших глаз.

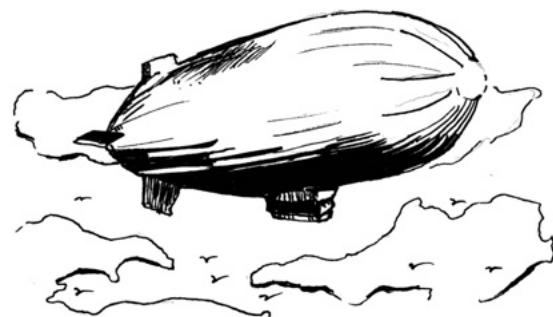


Творческий тандем
Васильев/Чурдалёв:
музыкально –
поэтические
композиции.
[youtu.be/
IAE8sAYUYj0](https://youtu.be/IAE8sAYUYj0)

ЛЕГЧЕ ВОЗДУХА

Самую горькою желчью не исцелим,
жгучее нечто закусывая васаби,
в баре «Гондола»
отеля «Граф Цеппелин»
я между жизнью – и как её? –
зависаю.

Так и лечу, воспаряя на всех парах,
с битого днища земной отрясая прах.



Это нормально. Что сеял, то пожинаю –
то есть с окурков павшую пыль золы.

Но – создаю дирижабли, где пожелаю.
В сущности, это громадные пузыри –
дутые бредни, вымыслы.

Род аферы.

Тени их зыбки, как шансы слепых котят.

Так Монгольфье выдумывали монгольфьеры
из ничего.

Но выдумки их – летят.

Душно во времени.

Тянешь вдох, как желе из
чих-то прокисших выдыхов.

Выход – быть
воздуха легче,
который всё тяжелеет,

так уплотняясь, что впору его долбить.

Это же так легко – уходить на поиск
ясности в небо, как некоторые смогли,
где – легче воздуха – Нобиле ищет Полюс,
путь отмечая грядой ледяных могил.

Стоит поверить, что высота – опора.

Прах лишь мой падает – лада моя, лови!

Но ты уже высоко не поднимешь взора,
и я уже не вспомню твоей любви.

Тросы надежд и смыслов –
не удержали,

пусть их обрывки спят далеко внизу.

Пусть поднимаются поздние дирижабли
сквозь кучевые ворохи, сквозь грозу.

Легче воздуха путь мой.

Аэростаты –

плод легкомыслия и потому легки.

Но не без зависти

тяжести арестанты

снизу глядят, выкатив кадыки.

ТЫ ВРЕМЯ СВОЁ УЛУЧИЛ

Ты время своё улучил, как счастливый билет
в поездке такой, где с кондуктором спорить опасно.
И вот поднимаешься в область разреженных лет,
где дышится трудно, но видится чётко и ясно.

Так вольный пилот, по спирали кружа, как и ты,
винты горяча до предела их воющей мощи,
над тем же ландшафтом – но с большей уже высоты
увидит иначе дороги, и реки, и рощи.

Над вечером душным, где воздух морозный светлей,
парит он под порванным небом, пустым и провислым.
И всё, что казалось заплатами лет и полей,
становится жизнью, страной, и призваньем, и смыслом.



ЖАЛЕЮ ЦАРЕЙ

Жалею царей.
Их, конечно, за дело свергали.
Они батогами дрались, и казнили, и лгали.
Они на гербах рисовали свирепых зверей
и сыпали в кубки отраву...

Жалею царей.
Им свойственны были пороки и низкие страсти.
Кто был поумнее, так те отрекались от власти,
сбегали в пустыню, молили пощады у Бога.

Но умных среди государей случалось немного,
поскольку излишества предков
вели к вырождению.

И вот результат:
царь скользит худосочною тенью
по топким коврам к слюдяному окну
и тупо глядит на столицу,
роняя слюну,
покуда в саду гренадер ублажает царицу.
Затем государь
крутит кубарь и стреляет в тире,
затем государь
отрывной календарь читает в сортире...

Жалею царей.
Их ужасный конец одинаков.
Сколь горестно видеть надгробья усопших монархов:
под ними покоятся бедные жертвы царизма –
колодники власти,
дошедшей до идиотизма.

БАЙКЕР-НН

В Нижнем всё спокойно. Всё мертво.
Город, на Горыныча похожий,
засыпает. Мелкое метро
еле бьется под шипастой кожей.
Как под землю, мир ныряет в ночь,
в тусклый морок, длящийся веками.
Изредка лишь вздрогнет и всхрипнет
байкерскими зверскими движениями.

Всадникам неведомо, поди,
что за дульсиня приказала
наряжаться в рыцарей среди
безнадежно спящего базара,
гнать по лучевым до кольцевых,
далее, ведомыми лишь фартом,
рассекать на чопперах своих
прах Руси, враждующей с асфальтом.

Просто каждый сам себе король,
просто страшно околеть в постели,
если просто рок – и рок-н-ролл,
ветер, путь и воля – больше цели.
Гибель их мгновенна, жизнь быстра.
На одном из мокрых поворотов,
может быть, ещё прибьюсь и я
к стайке неприкаянных пилотов.

С тыла пусто, впереди черно.
Можно сквозь оставшиеся годы
улетать во тьму ни для чего,
просто ради Бога и Свободы.
По любому – нет пути назад,
а про риск и скорость – это бросьте.
Смерти не успевший осознать,
в сущности, не умирает вовсе.

СИНКОПА

Поседевший, с ухмылочкой старого тролля,
но всё в том же нелепом прикиде юнца...

Вот за что я люблю старичков рок-н-ролла –
так за эту способность стоять до конца.
За умение жить среди людей нелюдимо
и за сорванные навсегда тормоза,
за глаза цвета марихуанного дыма
и тоски – за красивые, в общем, глаза.

В том же баре, за тою же кружкой, и танец
тощих пальцев на столике – тот же джаз-рок.
Чем поделишься с юною порослью, старец?
И какой в твоей музыке юношам прок?

Ты не понял, покуда из транса не вышел
и в надмирных пинк-флойдовских жил облаках,
как взошли эти клерки без вредных привычек
с тошнотворной попсой на мобильных звонках,
эти мальчишки от хаббардистской науки –
им с тобою поладить уже не судьба.

Дождись теперь, когда вырастут внуки,
с тем же дымом во взгляде, что и у тебя,
с тем же рвотным рефлексом на график доходов,
на внушенья папаши, который кормил...

И тогда ты покажешь им пару аккордов.
И опять полыхнёт изолгавшийся мир.

ФОЛЛАУТ

От права жить как все, как повелось,
от премий, баллов, конкурсов и матчей
уходит мальчик – и опять вопрос,
как встарь, неразрешим:
«А был ли мальчик?»

Он с головой ныряет в монитор,
в просторы анимированных бредней,
где он уже не зелен, но матёр –
боец крутой и тактик не последний.

Обожжены Фоллаута поля,
река темна, ужасен моста остов,
и радиоактивный вихрь, пыля,
проносится над логовами монстров.
Беги же, мальчик, прочь, покуда цел,
вернись туда, где чудищ не бывает!
Но он примкнул оптический прицел
и виртуальных гадов убивает.

Как будто в мнимой жизни мстит за ту,
в которой мы пока и вправду живы,
но в скоротечной схватке на мосту
не знаем, кто – свои, а кто – чужие.
Где не стремятся прямиком к беде,
ища пути кружного, но простого.
Где смертью, прорисованной в 3D,
мы, умерев, не воскресаем снова.

А мальчик, до зубов вооружен,
избрав маршрут короче, но не проще,
открыл консервы боевым ножом,
в какую-то дыру забившись к ночи.
И что в нём зреет – кто его поймёт
до срока...
Как замедленная мина,
он спит, облокотясь на пулемёт,
среди руин растерзанного мира.

МАРЛЕН

Ремарковский последыш, нелюдим,
под скверный кальвадос о чем-то грезит,
один в кафе – в той степени один,
что если он уйдёт, кафе исчезнет.

Душа однажды сбрасывает вес,
точней из брутто переходит в нетто.
А вещи, остающиеся здесь,
ещё живут в попытках значить нечто.

Так мнит скамья, что будет на века
седалищами жаркими согрета,
и дым, взойдя к виньеткам потолка,
не верит, что погасла сигарета.

И вся эпоха, словно тот же дым,
витает в обольщениях нескромных,
что в ней никто отныне не один –
все поголовно в штурмовых колоннах.

А этот пьёт, шепча под шум дождя,
в стакан, который кажется бездонным:
«один-один», упрямо счёт ведя,
себя не признавая побеждённым.

Ничья за ним – он канет в никуда,
не поклонясь ни символам, ни плахам.
И за его спиной города
становятся ничем – золою, прахом.

Кренился небо, осеняя тлен.
И выпевает дождь разноголосо
десяток тактов из «Лили Марлен».
И помнят капли привкус кальвадоса.

КОФЕЙНЯ

Забытый, оставленный где-то
за скобками времени, где
ты сходишь по ярусам лета
к застывшей осенней воде,
скрывааемый сумраком синим,
подумаешь: может быть, я
и жизнью обязан лишь силам
забвения – и забытья.

Займи же излюбленный столик
под сенью родимых пенат,
в музее, где ты не историк,
а просто смешной экспонат.
Идальго на автокобыле,
что вечно пригубить готов
волшебную смесь рокабилли
с модерном домашних сортов.



Ты явственно видишь свой берег
в архивной пыли кинолент –
в сорочке немислимо белой
прибрежной веранды клиент.
Потягивай кайф из фужера,
слагая вину на вино,
под хит Антонеллы Руджеро,
забытый вполне и давно.

Пусть вроде игры или блажи
кофеенка эта, но в ней
хоть что-то спаслось от продажи
за мелочь сегодняшних дней.
В ней свой преискурант – и обычай
на пену времён не пенять.
И он – посетитель забытый.
Не надо о нём вспоминать.



КОФЕЙНЯ – ПОЭЗИЯ
(читает И. Чурдалёв)
Творческий вечер
Jam-prestij 10-5-2012

[youtu.be/
88jSxLWy67Q](https://youtu.be/88jSxLWy67Q)

ЛОРД

Только свистну – и вот он,
лорд Генри Уоттон,
добрый, преданный пёс.
Хорошо, если рядом
личный лорд. А с Уайльдом
мы уладим вопрос.

Как вам это ни странно,
я не клон Дориана,
коль судить по судьбе,
путь которой не розов.
Так разумней и лордов
подбирать по себе.

Что, мохнатая морда,
хороша жизнь у лорда?
Наслаждайся и впредь
каждой крошкой котлеты,
помня:
только портреты
не умеют стареть.

Поделюсь, чем осталось –
и ни слова про старость.
Погулял на веку,
а теперь уж чего там...
Знаешь, Генри Уоттон,
выпьем лучше чайку.

До чего бы ни дожил,
а никто быть не должен
на земле одинок.
Лорд – в конце, как в начале –
вне нытья и печали.

И собака у ног.

Я ТЕБЯ НЕ ЗАБУДУ

– Я тебя не забуду, – сказала она, –
но сюда приходиться тебе больше не надо...

Я пришел.
Вместо окон – слепая стена.
Где калитка скрипела – глухая ограда.
Нижний Новгород.
Нижних кварталов содом.
Меж лабазов, лотков и ломбардов плутая,
я пытался узнать тот покинутый дом,
с места снявшийся, как голубиная стая.
Снова в древний квартал возвращался –
а вдруг? –
а вокруг новостройки теснились опрятно.
– Я тебя не забуду...
прощаясь не врут.
Только что-то уже не пускает обратно.
Все ухмылки прохожих я помню спиной.
Я взлелеивал месть, я обиды припрятал.
Но руками развел в припортовой пивной
старожил этих мест: мол, не помню, приятель...

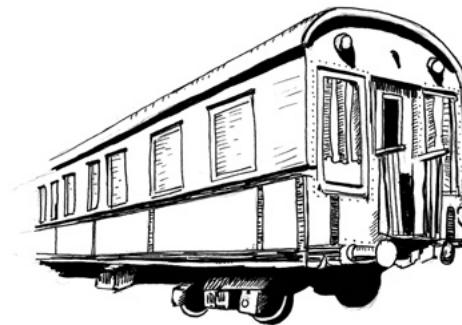
Всё забудется.
Будет слезинка одна.
Словно в будущем некто построил запруду
и сомкнулись над нами года, как вода.
Лишь всплывает со дна:
– Я тебя не забуду...

ПЛАЦКАРТА

Не уезжай.
В этих мутных и влажных просторах
есть ли далекие цели, во имя которых
отчих пределов навеки покинуть не жаль?
На поездах, отбывающих в пропасть –
как водится, скорых –
не уезжай.

Но с шипением змея экспресс
прянул и двинул извечным путём.
Разве только
в тамбурах больше не курят
и тонкие стекла
не дребезжат в подстаканниках от МПС.

Той же дорогой уже не вернёшься назад.
Эти колеса не знают обратного счета.
Не уезжай.
А уедешь – хотя бы дай знать,
как там и что,
если там замаячит хоть что-то.



Провожающих я не позвал.
И в купе не заметил момента,
когда тронулся мир незаметно,
проплывая впотьмах, как вокзал.

Он потёк, принимая меня
за скалу, преградившую русло.
И последние искры огня
прогорали в нём, тлевшие тускло.

Там, где кончилась их череда,
в тупике, в поле, Богом забытом,
загустела в окне чернота
и застыла, твердея как битум.

СТОРОЖ

Полз к закату, тлея, дня запал,
мир себя во тьму, как в шахту, прятал.
И тогда на смену заступал
я – как ночи штатный оператор.
Но в рассветах, словно на кострах,
прогорала звезд толчёных пудра.
И тогда ко мне являлся страх.
Кто я был для бодрых граждан утра? –
нечисть и чужак с клеймом на лбу.
Нетопырь – и сам поверил в это.
Не точил клыков, не спал в гробу,
но чертовски не любил рассвета.

Красного я отроду не пил.
Глюки с похмела – оно мне надо?
Но маскировался, как вампир,
и предпочитал для маскарада
всё, что от прилавков далеко,
что давно не модно и не ново –
запонки эпохи ар-деко,
галстуки из шёлка набивного.
Только бы подальше от орды,
чьи отары к миражам гонимы,
только бы не встать в её ряды,
в час, когда чабан врубает гимны.

Тот, кто в доску свой и кто чужак –
каждый сгинет со своею верой.
Так и мне бы сгинуть в сторожах,
что не худшей стало бы карьерой.
Я бы блеску свиты не мешал
на дневном свету её парадов,
только б колотушкой оглашал
переулки дрыхнувших багдадов,
сообщая миру: ночь уже! –
и тысячелетья пронесутся,
прежде чем не станет сторожей,
спящему дающих
шанс проснуться.

НОЛЬ

Ноль.
По утрам серебро
в олове луж.
Без азарта
метеоцентр на зеро
ставит, гадая на завтра.
Снег снизошёл свысока –
выпал, растаял и выпал
снова.
Бредут облака,
между «прощай» и «пока»
делая тягостный выбор.

Стынут в паденье листья.
Время стоит на нейтралке.
Инеем тронутый, ты
шляешься в меркнувшем парке.

Щёголь в английском пальто,
кто ты здесь?
Выпал – растаял,
не обернувшись на то,
что полюбил и оставил.

Мир прозябающий,
сплошь
крытый октябрьскою медью,
взгляд, отлетающий прочь
и зависающий между
оком, огнём вдалеке,
близостью и отторженьем,
облаком –
и отраженьем
облака в тусклой реке.

КАК СТРАННО...

Как странно,
что мы в этом тлеющем городе – дома.
И снег его, серый, как пепел на стогнах Содома,
снимающий слепки, всё множится...
Эхом стиха
я тоже копировал схемы его, словно калькой.
Лишь ты оставалась в нём ветхозаветной дикаркой,
не зная греха.

Живи же, как Маугли в технократических джунглях.
В продвинутом гриле есть опция типа «на углях».
Захочешь плутать – шляйся сутками в яндексах-гуглах.
А вместо костра
я сам здесь мелькаю на маленькой красной машине,
которая, в общем, не очень подходит мужчине,
но если нажать куда надо,
довольно шустра.

Когда же отправимся за городские ворота,
припомни супругу библейского дедушки Лота.
Она оглянулась – и с ней приключилось чего-то
такое, что дальше старик уже вдовым побрёл.

Назад не смотри. Там оркестр привидений играет
сожженную музыку.
Пусть вместе с ней догорает
там наша пропадающая молодость,
наш рок-н-ролл.



ВСЁ-ТО МЕЛЕТ ЗАОБЛАЧНЫЙ МЕЛЬНИК...

Светлане Холодовой

Всё-то мелет
заоблачный мельник
свой рассыпчатый снег.
Дотемна
я смотрю, как бледнеет и меркнет
свет в ожившей гравюре окна.

Так правдив и реален рисунок,
словно время вернулось назад,
где в наполненный радостью сумрак
дети с горок-ледянок скользят.

Где грядущее – сладкая тайна
и медлительно столь колесо
лет.
И счастье – не знак обладанья.
Где оно просто счастье –
и всё.

И печаль обитала другая
там, откуда убраться спешил
прочь,
израненным в кровь достигаая
ледяных и пустынных вершин.

Оттого-то и взгляд этот горек,
замерзающий на полпути,
там, где дети катаются с горок,
на которые мне не взойти.

ПЕЙЗАЖ С ПУТНИКОМ

Над абрисом означена луна,
хотя до сумерек не близко –
речь о лете –
на фоне августа, чья зелень столь темна,
что неуместно говорить о цвете
листвы, непроницаемо густой.

Дальнейшее расписывать не буду
и лишь добавлю в темень за листвой
чуть-чуть аквамарина к изумруду.

А всё же синь джинсовки так бледна,
так безнадежна продранность карманов
фигуры – что продуманно бедна
на фоне пышности,
царицы дальних планов.
Там всполох над курчавою горой,
томящейся, куртинами качая...

Туда он и уходит, мой герой,
забытый всеми, автора включая.
Не более чем штрих чем антураж,
не прояснивший, встретившись со мною,
зачем он жил – и помечал пейзаж
белёсой и сутулою спиною.

Зачем на фоне смутно проступал,
когда рука творца над ним нависла:
один мазок – и он бы в миг пропал.
Но без него пейзаж лишился смысла.

Кто вслед смотрел, тому ли не понять.
Кто из виду терял, успев привыкнуть,
тот чувствует, что поздно догонять
и не достанет голоса окликнуть.

ПИСЬМА

Берег мой – из бетонных плит.
А мальчик, живущий на том берегу,
лугом бредёт, ночует в стогу.
И по волнам отпускает плыть
бумажные корабли.

Мальчик, живущий на том берегу,
письма пишет себе – старику,
в зыбкую даль, где за рекой
призрак земли.

Строчки размыты, сбивчива речь,
Почерк неровен... Седой адресат
Мальчику рад бы ответ написать,
предостеречь.

Ведь берег мой – из бетонных плит,
город прогорклый над ним пылит.
Мне по плечу
камни его и его слова,
тяжкие, словно бетон, сперва.
Но промолчу.

Мальчик, живущий на том берегу,
письма твои всё ещё берегу
Их затвердил, как старый мулла Коран.
Но этой реке не узнать моста
И не ответил я неспроста –
вспомнить не смог, как из листа
сделать корабль.

ХОЛОДА

Как домой, возвращаюсь в свои холода,
где ночами уже стекленеет вода,
где снега вроде символа веры.

Горних айсбергов следом влачится гряда –
с их армадой вхожу под брэнчание льда,
так бряцают ключами у двери
в темноте необъятных студёных сеней.

Пусть она открывается внутрь, а за ней
будет вечер – и в нем коченеет звезда
в тишине беспробудной, осенней.

Местный ворон уже не кричит «никогда!» –
это ясно и без пояснений.
«Никогда» именуются эти поля,
хоть и не вызревает на них конопля.
А за ними – зубчатого леса пила.

А за лесом вообще географии нет.
Там кривятся стези и кончается свет.
И никто уже не говорит «далеко».

Там безумные стужи на пяльцах окон
кущи роц неживых вышивают.
Там безумные люди живут испокон
в непостижной рассудку тоске ни по ком,
а постигшие – не выживают.

Мне пора возвращаться в свои холода.
После жизни – хоть снегом, хоть ветром –
я хотел бы опять возвратиться сюда.
Может быть, всё безумие в этом.

МЫШ

Кто я, что я –
не будем об этом.
Для подруг – молодцом среди овец
я предстал бы.
Допустим, я Бэтмен –
и не зря растопырился здесь.

Высь мелеет.
Но я с каждым годом
воспаряю всё выше, как вихрь,
над сгнивающим городом Готэм
на виниловых крыльях своих.
Русь, Канада, Гвинея-Бисау,
или что ещё выплюнет Гугл...
Этот мир всё спасаю, спасаю,
а спасти никого не могу.

И, бессмысленный символ отваги,
от земли отвлеченный, как мысль,
нарезает в потёмках зигзаги
пусть летучий, но крохотный мыш* .
Иногда лишь, тоской переполнен,
от шараханья еле живой,
спеленает себя в перепонки
и подвесится вниз головой.

* Мягкий знак потерян в процессе гендерной трансформации существа.

КУПОЛ

Если важные вельможи
возведут горе глаза,
им побелку зреть негоже.
Им подайте небеса.
Но князьям туда нельзя –
в небесах то зной, то дождик.

И на зыбкие леса
поднимается художник.
Туча капает на лоб,
точно впрямь прореха в крыше...
Мастер,
вот твой потолок.
Ты уже не прыгнешь выше.

На веревке жбан кваску
от щедрот пришлет кормилец:
– Как, мол, братец, наверху?
– Жарко нынче, ваша милость!

И рассыплется внизу
эхом с неба, издалече:
– Прикажите бирюзу
растирать как можно мельче!

... Подошел урочный срок.
Подмастерье моет кисти.
Мастер,
где твой потолок?
Где ты сам теперь? Откликнись!

Убираются леса.
Открываются высоты.
Зрят вельможи небеса
в раме тонкой позолоты.
Там – покой и чистота.
Невесомые чертоги.
И презрительные боги
в предвкушении суда.

Трубы их молчат пока
и движенья осторожны –
ибо спит на облаках
утомившийся художник.

DUTY FREE

Странно улетаем. И внутри
точно нечто тонкое задето.
В сумеречной зоне Duty Free
мы уже нигде – а были где-то.

Ближе к терминалу своему
прикупаем жвачку и открытки,
кофе пьем и плаваем в дыму,
налитом в аквариум курилки.

Перед небом заглушаем страх
дозами бурбона или шерри
в узеньком зазоре меж пространств,
там, где всё ненужное дешевле.

Боинг, над поземкою скользя,
тянет ноту воющего звука.
Странно улетаем. Впрочем, за
стенами стекла – всё та же вьюга.

Та же мгла и те же фонари.
Может быть, мы и не умираем –
просто переходим в Duty Free
между сопредельными мирами.

Здесь багаж былого можно сдать,
скорбь оставить – и с душою лёгкой
на огни смотреть и рейса ждать
к жизни новой, чуждой и далёкой,

где увидим грезы наяву,
где надежды встретят нас, безгрешных,
где туманным словом «дежавю»
назовём себя, минувших, прежних.

[youtu.be/
jSGEGnlMp8](https://youtu.be/jSGEGnlMp8)



АРГЕНТИНА

1

На слёте бархатистых мотыльков
у ночника – короткая повестка.
Что ж, решено: пусть вновь настанет лето.

Дружок её мелькнул и был таков,
а бабочка, как вечная невеста,
одна порхает на танцполе света.

Да, Аргентина, танго та же жизнь.
Партнер зигзагом свой покажет нрав
и юрк во тьму – глядишь, и налетались.

Но все кружит любовь, любовь кружит,
трепещет и танцует – и не прав,
кто думает, что это парный танец.

Мужчинам что – они сплеча и рубят
основы чувства и опоры кровя,
им всё бы только воевать да пить.

А женщины то любят, то разлюбят,
то вновь полюбят – но уже другого,
чтоб и его однажды разлюбить.

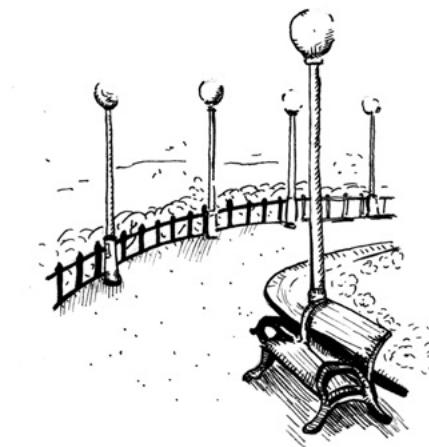
2

Как прошлый снег в минувших стужах,
зачем-то кружатся ночами
в мозгу обрывки жизней чуждых
затертым фильмом без начала.

А кадры темные такие –
условен год, туманен адрес.
к примеру, Мексика б сгодилась,
но, раз смешали джин с текилой,
пусть будет хоть Буэнос-Айрес,
где депрессует местный гений,
то ли Хуарес, то ли Диас.

(Наплыв на столик за колонной).
Допустим, это хмырь богемный,
гламуром глупым утомлённый.
Он хочет спрятаться от света,
от обязательств и содружеств,
он хочет женщину, но это
уже не похоть – только ужас,
поскольку нет иных убежищ
от стай известий и событий,
а страх молчит, пока ты бредишь
в тягучей патоке соитий.
Он понял, что в его картине
герой бездарно-иллюзорен,
звонит продюсеру – скотине! –
контракт со студией разорван.
Он на девайсе давит кнопку,
но Ctrl путая с пробелом,
вдруг вспоминает про коробку,
в которой древний парабеллум,
хранит в нарезках запах кислый –

и вновь, с удвоенною силой,
он борется с такою мыслью
уже помянутой текилой.
Потом напишут, что он ищет,
когда, по сути, он лишь прячет.
Don't Cry For Me –
впотьмах он слышит,
но не об этом он и плачет,
он хочет большего, чем снится.
Но снова ничего не выйдет –
и, воспаряя в сон, как птица,
не узнаёт того, что видит.



3

Жизнь моя, всё погублено, всё пропало.
Быть честолюбцем в мире, где честь – химера,
чахнувшая в пыли архивов, – предел безумья.
Но обо мне не плачь, ибо каждый миг мой
словом отмщён, как тёзка женою Ольгой,
переселившей древлян в бурелом преданий.
Всё безнадежно, любовь моя, всё пропало.
Но мы с тобою взошли вне полей надежды,
как сорняки, не страшась жатвы.
Зря говорят, что пейотль не растёт в Поволжье,
а потому не проблема себе присниться
дедушкой-хиппи, живущим на Рио-Негро.
Знаешь, как пахнут лодки, на солнцепёке
греющие смоленые свои кили?
Запах этот внятн без перевода
всюду, где есть вода, солнце, берег
и щербатая набережная, пройтись которой
я приглашаю тебя, красиво повязывая галстук –
с превосходством невозмутимости,
как сказал бы старик Борхес.

ЯЗЫЧНИК

Ах, этот бог...
Ну помню, как же, как же.
Был суховей и адская жара.
Кишела чернью плоская гора.
А я к тому же, как начальник стражи,
еще одет в доспех из серебра
и перебрал в триклинии вчера,
а нынче снова мучился от жажды.
Считать с утра – не меньше меха выпил.
А сам наместник, бестия, не прибыл.

У нас чуть что – центурия моя.
Случится казнь какого-то ворья,
моих орлов тотчас же – в оцепленье.
Уйду в отставку. Кончится терпенье.
Куплю именьё...
Так о чем бишь я?

Ах, да, жара – аж до оцепененья
мозгов под шлемом... Там была одна
в толпе красotka, это помню точно,
еще подумал: надо бы...
Но тошно
и как-то лень от зноя, от вина.
В тот год вообще не лето было – пекло!
Всё выгорало, трескалось и блекло,
и пропадала влага в родниках.
Что родники – моря и реки сохли...

К обеду двое на крестах издохли,
а третий – сумасшедший – всё никак.
И бред его мне доносило ветром:
что он, мол, бог и все такая муть...
И думал я: помри, будь человеком,
над нами сжался и себя не мучь.
А он всё ныл про веру и добро...

Тогда я не спеша допил из фляги,
подъехал к богу вашему, к бедняге,
и сунул ему пику под ребро.

ПАЛАДИН

Поверх власяницы надета его броня.
На грубую шерсть плаща
алый крест нашит.
Сквозь щели шлема не разглядеть лица.

Он «Credo in Deum» бормочет –
и на коня,
садится, закинув на спину крепкий щит,
клеймёный тем же крестом о восьми концах.

Забудет близких,
забудет, кем сам он был,
мясо звериное станет в дороге есть.
Волчьей за муки Господа будет месть –
Того, который сказал ему: «Не убий»,
И пояснил: «Не мир Я принёс, но меч».

Головы с плеч –
ибо вера без дел мертва.
Верует только умеющий жить в седле.

Только клинок смеет назвать своим
нечто в земле, где вера одна права
и позволяет землю забрать себе.
Вечно пылай же, вечный Иерусалим!

Так «не убий» и прочтётся среди людей,
как «не принявшего заповеди – убей»,
не разбирая, где сарацин, где иудей.
В сече, не прекращающейся и злой,
вряд ли их боги будут к тебе добрей.

Все палестины станут одной золой.
Все паладины станут Святой Землёй.
Рухнет, кто верил,
рядом падёт, кто лгал –
прах безымянный ляжет под град подков.

Только один в подземелье найдёт Грааль.
Прочим достанется золото, тлен и кровь.

ИЕРУСАЛИМ

В коленях улиц Иерусалима,
где в лабиринте одного базара
сошлись все веры мира, все эпохи,
все языки Земли –
искал и я
бесспорных истин, очевидных смыслов,
стезей прямых, ступеней восходящих,
ведущих из Геенны на Голгофу.

Но шумный торг сбивал меня с пути.
И символы бесчисленных религий,
болтаясь на гайтанах и цепях
подобно гроздьям рыночной лозы,
мне застилали взгляд сусальным блеском.

Семинарист армянский объяснил,
что нужно мимо... и тотчас отвлёкся,
поскольку замарал подошву кровью –
арабы здесь зарезали барана,
харчевня их обильно источала
тьму ароматов – специй смачный чад
мешался с духом конопли паленой.

И сам, полдненным зноем опален,
за столиком под римскую колонной
я помянул десятый легион
водой со льдом. Но, только под уклон
пустилось солнце, отступить не склонный,
продолжил путь –
сокрывший взгляд нахала
в потемках линз, любуясь на ходу
цветеньем юных дочерей Цахала,
несущих автоматы грациозно
над пеплом вечно тлеющей вражды.
И заплутал опять.



Роняя пейсы
из-под полей весьма лощеной шляпы,
хасид мне указал налево там,
где протестантский чернокожий пастор
какого-то неведомого толка
указывал направо.

Наконец
я сдался – и на иродовы плиты
устало опустился. В их щербинах
и трещинах как бы сквозили знаки
невероятно древнего письма
и складывались в слово «безнадёжность»,
которое я не прочел, но понял.
Пустынный купол неба остывал.
Предо мной простёрся Божий город.
К его стопам ползли ряды могил
в надежде тщетной. И тогда я вспомнил
о тех кого любил и трижды предал,
пока петух зари не возгласил.

Должно быть, в круговерти мира есть
пути, что различимы лишь сквозь слёзы,
которые уводят нас туда,
где нам дано прощенье – как свобода
от упований, от самих себя,
куда побрёл я, больше не гадая,
о чем евреи плачут у Стены,
зачем пытаются камень безответный.

МАСКА

В остывшей памяти, как в проруби,
вдруг замелькает небо летнее –
и неотвязчивые голуби,
в попытках выклянчить последнее...

Бродил и я по этой пьядце – и
экскурсовода слушал лекции,
чужд, как Петрушка, декорации
в дель-арте сыгранной Венеции.
Скользя меж стенами линиями,
в гондоле, зыблющейся кренами,
и я кружил её каналами,
где отражались поколениями
её миранды и лукреции,
её поэты и поклонники,
куда в немыслимой проекции
её упали колоколенки.

И я на палубу Венеции
всходил без компаса и лоции
за сувенирами коллекции
лавчонок мелочной негоции.
И мне казалось – нечто понял я
в проулках, узких, точно трещины,
где сушат золушки исподнее
и мётлы ведьмами развешаны.
Но, на ходу меняя правила,
как суверенная Вселенная,
она любой чертой лукавила,
коварная, не откровенная.

И если что здесь было истиной –
так только этот повсеместный
надменной маски знак таинственный,
двусмысленный, но в чём-то честный.
Пускай мы порознь, точно полюсы,
но убывая в даль иную,
я вспомню донны взор –
сквозь прорези,
ведущие во тьму ночную.
Во времени, судьбой отмеренном
мне для земного карнавала,
она меня коснулась веером –
но маски снять не пожелала.

ЕЛЕНА

Сжигал мосты.
Рубил узлы мечом.
И возвращался вплавь.
И путал снова –
я сам себя – и никого иного.

А женщина-то, собственно, при чём?

Я к ней ломился, словно в дверь плечом –
мне отвечал железный смех засова.
Иные, мудро действуя ключом,
им щелкали в два счета – и готово!
(Извечный принцип ларчика простого.)

А женщина-то, собственно, при чём?

Читали мы – кто нынче не учён? –
что страсть от века правила вселенной.
Ахеяне уплыли за Еленой –
мы знаем поименно корабли.
На головах царей – мы помним! – пена...
Был бой и вызволение из плена
увядшей и зареванной любви.

Её везли домой как символ мира.
Но Одиссей, стоящий у кормила,
недаром хитроумным наречён.
Он видит, оглянувшись дым крошечный,
ложь, пепел, кровь...
И думает с усмешкой:

«А женщина-то, собственно, при чём?»

КОРОЛЕВА ФЕЙ

Когда убудут наши корабли
к морям иным, других миров системам,
и лишь строка покинутой любви
останется на сайте опустелом,
да блоги позапрошлых новостей,
стоящие увядшими рядами,
да чахнувшие в дебрях соцсетей
страницы, позабытые френдами,
застывшие на вздохе дневники –

тогда восстанут наши двойники
из облака туманных технологий.
И, вид храня значительный и строгий,
устроят в нашу честь печальный театр –
мистерии творя в элитных клубах,
трагедией представить захотят
всю череду ошибок наших глупых.

Но мы – уже обучены тоской,
не предадим напыщенности ради
на вымышленном этом маскараде
ни мудрости в личине шутовской,
ни истины в дурашливом наряде.

И вот тогда – пусть тьма нисходит к нам,
где под напев то бешеный, то грустный
мы колобродим по ночным камням
какой-нибудь вероны захолустной
с друзьями, поразвлечшись хорошо.

И пусть я им скажу, хлебнув ещё:

– Надеюсь, королева Мэб бессмертна!
Нельзя оставить фей без повитухи
во времена безверия, когда
механика их родопродолженья
в сухом контексте нанотехнологий
становится рутинной. Королева
теперь форматом – кремниевый чип,
командный центр микросуществ, снующих
по жилам дев, смотрящих порносны,
иль крючкотворов, грезящих о взятках...

И, опьяняем ночью этой лунной,
все скорби отлагая на потом,
пускай ответит мне мой спутник юный:
– Ты о пустом болтаешь... о пустом.

ПОЛЮС

Собака, примерзшая брюхом к насту,
встаёт, выдирая клочья шерсти
из тощей плоти, но скулит тихо –
бережёт силы.

Ослабевших режут
и швыряют тем, кто всё ещё тянет.
Но лучший кусок достаётся людям.
Амундсен, отогревая пальцы
в потрохах собачьих,
сказал: пеммикана на всех не хватит.
Он дорожит только своим секстантом –
и приходит первым.
Норвегии слава!

Скотт проиграл и замерзает в палатке.
Плачь, Британия! Лик офицера и джентльмена
красив поныне – под маской инея,
где-то там, на юге мира,
на шельфе Росса,
там, где мнимой спицей пробито земное темя,
в близине ослепшей.

Где в миллиардах призм
всё во всем отразилось, где эхо света
переливается в безразличном небе.
Где нет никакого смысла,
кроме смысла смерти.

А ищущим смысла жизни
лучше купить другой глобус,
глобус Мёбиуса – и не вспоминать про полюс,
где индевеют великие вещи века.



СЕКОНД

Без упоенья взлетал или падал на дно
не утрашаясь,
входя в управляемый штопор.
Жизнь моя – секунд,
её кто-то прожил давно,
и, оставляя другим, постирал и заштопал.
Всех её вытертых швов я в уме не держу,
зная, что прочно сострочены,
к службе пригодны.
Чётко живу, запуская режим дежавю,
не на мгновенья, а на быстролетные годы.
Мир, мы знакомы.
Мы пересекались уже,
может быть, в этом же городе, прочном
и старом,
на перекрестке истоптаном, на рубеже
осени,
в августе, столь же от зноя усталом.
В нем пока всё ещё ярко и раскалено,
пусть первоцветье поблекло, пожухло
и смято.
В общем, я знаю, чем кончится это кино.
Но не могу оторваться –
так здорово снято.

БАЛЛАДА С ДРАКОНОМ

Рыцарь с поднятым забралом
и в плаще – конечно, алом!
И с копьем! А конь
рвется, горячась без меры...

А навстречу из пещеры
заспанный дракон –
выдыхает вместо «здрасьте»
лишь один огонь из пасти
и ершит шипы.

Здесь-то всю картинку смажет
рыцарь – спешится и скажет:
«Ладно, не шипи.
Никакого интереса.
Знаешь сам, что мне – принцесса,
а тебя – в куски.
Это ведь концовка сказки.
Дальше – свадьба, сопли, ласки.
Сдохнуть от тоски!
Сотни лет одно и то же.
Злобствуй дальше, если можешь,
полони девиц.
Я ж – бросаю труд напрасный.
Ешь меня, страхообразный.
Лопай, подавись!..»



Рисунок автора,
1988 год.

Рыцарь спит в траве, усталый.
Рядом конь пасется чалый.
Возле них – дракон,
разморен жарой и ленью,
предается размышленью.
Меркнет небосклон.
Ночь спустилась, козни строя.
Змей крылом укрыл героя,
дремлет на посту...
Мир во тьме, как в море тонет.

В шесть часов дракон долдонит
когтем по щиту:
«Видишь, витязь, луч рассвета?
Песенка ещё не спета,
хоть уже стара.
Бой, ты знаешь, будет труден.
А вчера... Пустяк, забудем!
Становись. Пора.»

БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ

У истины – никто не фаворит.
Умней Спинозы и тупей гориллы,
все жаждали свободы говорить.
И нынче разом все заговорили.
Не речь, но вопли к небу вознеслись,
в которых не понять,
где ложь, где правда.
И нечленораздельный гвалт повис
над миром,
точно грохот камнепада.
Тебя не слышат – и не слышишь ты,
лишь рты
распяты криком злобы, зримы.
По случаю повальной глухоты
слова мертвы,
и вняты только взрывы.
Зато юрод любой себя царем
свободен объявить без прений,
ибо
он сам себе Гомер и Цицерон,
безвучно ртом зевающий, как рыба.
Прощайте, строфы.
Стайка рифм – прости.
И не прибавить к этому «до встречи».
Прощай, поэт, и здравствуй, тролль сети, –
ты победил и встал над прахом речи.

* * *

Иногда просто хочется выплеснуть зло
за борт, в жижу, в которой увязло весло,
как в гудроне.
А может, рука не крепка.
Но, похоже, не сделать уже ни гребка
в этом грёбаном море по имени ложь,
где к добру, как ни тужься, а не догребешь.
Видно, множеству лузеров не повезло
и они утешаются, выплеснув зло
в эту гущу, которую впору пилить,
в это море, в котором самим же и плыть.

* * *

Если ты одурачен, хотя не глуп,
если внешне – лёд, а душа горит,
разыщи наш тайный бойцовский клуб,
о котором вслух нельзя говорить.
Оголи нутро, не живи, терпя.
Изувечь другого, он сам такой –
или ты его, или он тебя.
И настанет в душах ваших покой,
нисходящий музыкой высших сфер.
Там всегда спокойно – на то и верх.
А пока в тебе отдыхает зверь,
поживи немного как человек.
Это верно, мир твой жесток и груб,
сколько ни умиляйся на образа.
Но зато ты нашел свой бойцовский клуб.
Жаль, об этом сказать никому нельзя.

ЕГИПЕТСКАЯ БАЛЛАДА

Образуют круг времён
дней мелькающие спицы.
Мчится юный фараон
в золочёной колеснице.

Он справляет торжество,
что ни схватка, что ни битва.
И на ложе у него
то хеттянка, то нубийка.

Вдоволь кипрского вина –
угощает победитель.
Пьёт с друзьями дотемна
двух Египтов повелитель.

И выходит в час ночной
любоваться звездной далью.
И покорный лев ручной
лижет царскую сандалию.

Но военный брошен клич –
снова застит гнев зеницы.
Колесницы мчатся. Лишь
дней поблескивают спицы.

Неизбывен ход планет.
И хоть он столь молод с виду,
фараону тридцать лет.
Время строить пирамиду!

Время строить пирамиду,
краткой памяти назло –
и геометра стило
проторяет путь Евклиду.

В номы выслали гонцов.
И опять мелькают спицы.
Смуты. Ропоты жрецов.
Слезы матери-царицы:

– Устыдись моих седин!
Мы прогневали Исиду!
Позабудь забавы, сын!
Время строить пирамиду!

Не сдаётся фараон.
Отсылая жестом свиту,
прочь уходит. А вдогон:
– Время строить пирамиду!

Он твердит, забыв о сне:
– Я диктую полумиру,
кто ж отмеривает мне
время – строить пирамиду?
Кто желает мне конца?
Кто прикажет жить, старея,
словно сыну кузнеца
или внуку брадобрея,
мне, властителю Урея,
мне, носителю венца?..

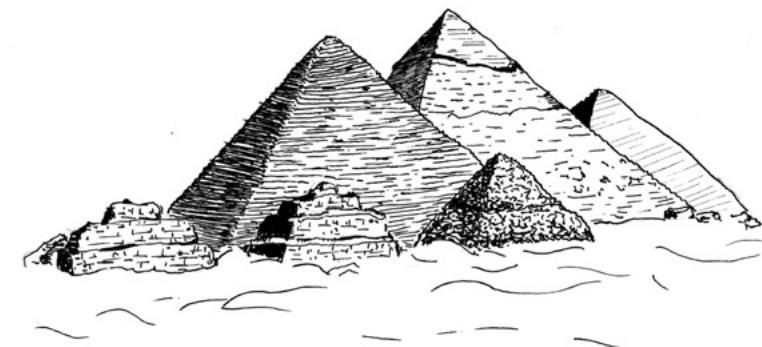
Нет ответа.
Тьма в глазах –
то ли тени, то ли птицы,
то ли спицы колеса
беспощадной колесницы.
Нет ответа. Жалкий крик
повторится... Нет ответа.

И уже почти старик
входит в гулкий зал совета.
Как велос из рода в род,
говорит, сглотив обиду:
– Время строить пирамиду.

И построит. И умрёт.



Творческий тандем
Васильев/Чурдалёв:
музыкально –
поэтические
композиции.
[youtu.be/
PQcQ58yBj24](https://youtu.be/PQcQ58yBj24)



ДИНОЗАВР ГОРОШИНОЮ МОЗГА...

Динозавр горошиною мозга
понимал, что врать нехорошо.
Честно съел в округе всё что можно.
И признал, что хочется ещё.

А едва успел проголодаться,
плюнув на пустынные поля,
ни мельчать, ни видоизменяться
он не стал, а вымер не юля.

Был он неуклюж, страшон, громаден,
но умел исчезнуть в свой черед –
потому что только мелких гадин
никакое время не берёт.

ГРАФФИТИ

Вдумчиво жили прежде. Не сгоряча.
Без истеричных всхлипов и нервной дрожи.
Ладили стены из красного кирпича
крепче обета, проклятья и первача,
так что сносить их потомку себе дороже.

Остов ещё вздымается, как ни стар,
над чередою дней человеческих куцых.
Корни пустил фундамент. Ветвями стал
рухнувший свод.
Утопает руина в кущах,
рвущих её, как медленный динамит,
аж все бурьяны рядом – в кирпичных клочьях.

Сбрэндил сентябрь.
Неуемной жарой томит,
золотом беден и листьев ронять не хочет.
– Дайте мне дней – умоляет он.

Бог подаст.
Ветер мольбой играет в полях широких.
Канем безмолвно в осень. Не молодясь,
просто не замечая урочных сроков,
как эти стены, которым что штиль, что вихрь,
лишь бы восстать над гнилью
и тьмой в подвале.
Зря ли развалины для миражей своих
юные граффитисты облюбовали...

Руны руин.
Шрифт изломан, как пьяный жест,
скомкан, как круг, кованный из квадрата.
Что вы, ребята, курите? Что за жесть
крыла вам крыши, съехавшие куда-то –
или взлетевшие? – юность всегда крылата.

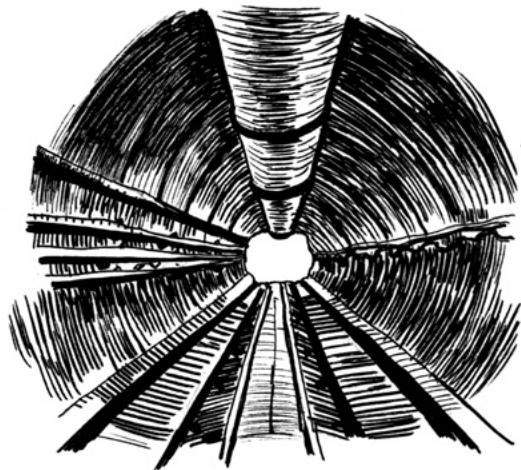
Вам только критика и не хватало здесь.
Вот он является, зол, умудрён и сед.
Вот озирает фронт, на обломок сев,
тихо потеет ядом и копит желчь.
Видно, надумал травить, сокрушать и жечь.
Вот как сейчас резанёт он, острей серпа...

Но всё молчит, потому что смотрит в себя.
Видит угрюмый остов, кругом лежит
ясная осень. И в пику столь ветхим темам –
странную, яркую, следующую жизнь,
свежею кровью стекающую по стенам.

ПЕРЕХОДЯЩИЙ

В общем, ему всё равно, какая погода.
В небо не смотрит, из дому выходя.
Он от природы – человек перехода,
а не дождя.

Впрочем, основа та же.
Под землю с воли
по траекториям праха, персти, пыльцы
те же нисходят –
клерки, торговцы, воры
и певцы.



Дедушка Дарвин хмурится –
но простит,
что, в обезьяньих путаясь генокодах,
мы тяготеем к роду подземных птиц,
с ветки на ветку скачущих
в переходах.

С умислом выжить, страху наперекор,
бродит, пузырясь, мутирующая масса,
дремлет по ходу –
но скоро на переход,
на кольцевую или одну из хорд,
круг эволюции режущих, точно масло.

– Да, дорогая. Нет, не там и не здесь.
Я где-то между –
до самой старости с детства.
То есть я в переходе, но сеть здесь есть,
как и везде теперь. Никуда не деться.

Он переходит –
с мата на англиш, с винды на мак.
С чипом в крови, он больше не платит налом.
Он бета-версия. В линзах безглазый мрак.
И капюшон аутиста натянут на лоб.
Он персонаж, прокачанный для броска
с борта на борт очередного судна.
Цель есть движение –
правит канон абсурда.

А по конечной накатывает тоска –
это пустое, дорога к ней не близка
по переходам – куда-то туда отсюда.

ПАЦАНСКОЕ

Тот квартал теперь, как зубы, выбит,
скрыты напрочь плешки-пятаки,
где сходились в рассужденье выпить
на тусу крутые чуваки.

Шёл и я пацанскими стезями,
рассекал, шустёр не по годам,
успевая поймать глазами
всех без исключения встречных дам.

Задом вспоминал ремень отцовский,
а уже гульбанил, где нальём.
И не слишком брезговал фарцовкой,
комсомольским брезгуя гнильём.

Я бывал милицией не понят,
не минуя свары ни одной.
И всегда топырил левый покет
самопальный ножик выкидной.

Но злодейства не содеял вроде –
и в итоге всё сошло ништяк.
Выпало остаться на свободе,
а могло бы выйти и не так.

Всё минуло – не без пользы, впрочем.
Под дуду базара не пляшу.
Родиной шершавую заточен,
не боюсь, не верю, не прошу.

Верно, был я вьюнош не из лучших,
и, бывает, матерюсь в сердцах –
видя, сколько мальчиков послушных
в записных осело подлецах.

Так и шли по жизни мы врагами
их продажных глянцевогой идей –
но в пути бывшие хулиганы
отковались в правильных людей.

Их по курсу зелени не мерьте,
биржам не назначить им цены.
Потому – до старости и смерти
с вами я останусь, пацаны.

МОРОК

В раннем детстве мнилось –
мир лишь обман и морок.

Если в миг пробужденья ещё притворяться спящим,
проясняя рассудок,
и веки раскрыть внезапно,
широко и мгновенно, когда-то враспloch застану
этот лживый театр, не успевший поставить ширмы
и включить миражи.

Но что же тогда увижу?
Мир был быстр и хитёр.

Он всегда держал наготове
потолок и окно. И небо
за окном. И грустящую в небе птицу.

Взят отцом на рыбалку, я сплеховал однажды.
Провалился в сон, неодолимый, сладкий –
так, что и колокольцы донок не слышал даже.
Улыбнулся отец – и укрыл меня плащ-палаткой.
День остыл, как пепел. Туман восставал над руслом.
И, когда я очнулся, глаза распахнуть готовясь,
он клубился – и был непроглядным, текучим, тусклым,
на мгновенья являющим ангелов и чудовищ.
Колокольчик звякнул – вдруг натянулась леска.
Я не вздрогнул, чуткому миру себя не выдал.
И затем лишь расклеил веки – нежданно, резко.
Наконец я его уличил. Подловил. Увидел.

Он потом предо мною мелькал годами, меняя кадры.
Лишь грустящая в небе птица была на месте,
как бы ни мельтешили кругом времена и страны,
дни и толпы, слипшиеся, как соты,
города и лица, мерзости и красоты.
Беспечально смотрю, как сгущается вечер бледный.
Я не слишком смел – не сталь, не гранит, не идол.
Но, когда перед взором встанет туман последний,
да не утрашусь – ибо помню его.
Я видел.

ЖИТЬ, УВЯДАЯ...

Жить, увядая – не самое сладкое чувство.
И ни единой из нот не возьмёшь –
чтобы звонко и чисто.

Впрочем, когда-то нам пелось – мы с музыкой квити.
Можно теперь и безмолвно лететь,
пусть без дьявольской свиты.

Нам ли страшиться бессмысленной тьмы,
коей были гонимы.
Черных коней в небесах табуны –
и туманы под ними.

Может, и в том далеке вдруг забрезжит хоть что-то.
Только покоя и там никому не причтется –

даже как сна, или отдыха, или привала.
Просто его не бывает.
Да и не бывало.

ГРАФСКАЯ ПРИСТАНЬ

Весеннее море покоя не помнит – как мы.
То полнится мраком угрюмым и оловом тьмы,
то вдруг встрепенётся –
и в брызгах взлетит его грива,
то радостью блещет, к ногам подбегая игриво,
то царственно машет Андреевским флагом с кормы,
корабль унося, покидающий чашу залива,
то громом рокочет, то шепчет...

Когда-то давно
и я распивал с ним, как с другом, живое вино,
закусывал, как и завещано, хлебом и сливой.
Здесь юности первой гроза надо мной пролилась,
и первые крал поцелуи и первый «ливайс»
добыл у фарцы,
облапошенный, глупый, счастливый,
несчастный, отвергнутый,
снова заласканный всласть...



Весеннее море шумит для других поколений.
Я вдоволь упился соленой его Иппокреной.
Мелькая и маясь в годах, как мятущийся чёлн,
быть может, и проклят,
но лучше скажу – обречён
нести через жизнь этот рокот, могучий и мерный,
не приобретая полезных и чтимых умений.
Покорствовал доле – и не сожалел ни о чём.

Душа – точно склянка,
полна ярко-синюю краской,
расколется вдребезги ради свиданий на Графской
с любовью неведомой, с некою новой судьбой,
такой же нелепой, шершавой, лихой, бесполезной,
а может быть, нежной –
но вряд ли счастливее прежней.

И в ней мы друг друга уже не узнаем с тобой,
влекомые порознь чужою грядущей толпой
вдоль волн, как и прежде, о пирс ударяющих грузно.
Но в плеске услышим внезапный
призыв оглянуться –
и встретимся взглядами над глубиной голубой.

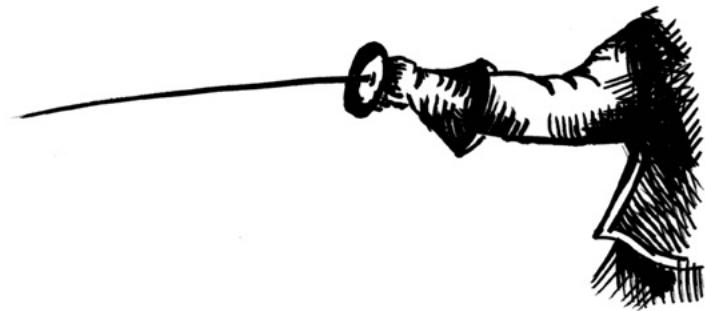
НОЧЛЕГ ЖУАНА

По дороге в Севилью,
в края серенад и рапир,
Дон Жуан,
непогодой в случайных стенах остановлен,
отобедав обильно, вино андалузское пил
и пытался уснуть
под шараханье ветра над кровлей.

«...завтра надо спешить,
доскакать, обгоняя молву.
Что минуло – забыто,
а что впереди – неизвестно.
Поединок решит.
Или ласковый взор на балу...
Только будут моими
две ямочки этих прелестных!..»

О, блестящий повеса, скиталец,
подлец из легенд –
как вериги влачатся вослед
за тобой прегрешенья.
Столько было ненужных,
не греющих сердца побед.
Может быть, наконец,
ты заслужишь своё поражение?

До обидного просто – интрига почти удалась.
И легко отдавать забвению забубённое тело...
Но очнёшься под утро, тоскою своею давясь,
заорёшь в темноту – и воды принесёт Лепорелло.



Предки бельма с портретов
впирают в пустой коридор
Что ж ты, каменный враг –
околел на своём пьедестале?
Где уж было тягаться тебе,
истукан –
командор,
с одиночеством этим,
прикрытым полоскою стали.

Мир не хочет любви.
Лишь фальшивая слава блестит.
И пока Дон Жуана не кончат разгульные ночи –
не предвидится битв,
где покой суждено обрести
и прекрасная Анна
случайна – как тысячи прочих.

Горек путь на заре.
Видно, с вечера всё же простыл.
Кружит голову дрёма – и песня копыт монотонна.
Выбивают они:
«В монастырь.
В монастырь.
В монастырь...»

Но – пришпорить коня!
Не простит опоздания Донна.

БУРАТИНО

На рассвете жизни лета
и в осенние лета
век паяца и поэта –
это шик и нищета.

У него бурбон в стакане,
и от Burberry пальто,
и костюмчик от Armani,
а в кармане на аркане
угадайте сами кто.

Но его питает манна,
и не хмурит он чело
в рассужденье: нужно мало,
много или ничего.

Скоморох – встречает смехом
славу, блеск, суму, тюрьму,
зная: цирк его уехал,
лет за сто уже тому.

Всё теперь – что в лоб, что по лбу.
Он невозмутимей льдин,
ест ли устриц или полбу,
всё едино – вкус один.

Всё ему одна рутина,
что победа, что провал –
словно кукла Буратино
нити мира оборвал.

Пусть за ширмою аврал,
пусть свобода не малина,
но манит неумолимо –
ведь не всё кругом еда.

Разве девочка Мальвина
вдруг приснится иногда.

СТИМПАНК

Кое-где полирован,
резьбой украшен,
но прошелся по мне, в основном, рашпиль,
век червонной медью меня клепал.
Я тяжел, как стимпанк в цифровом мире,
будто углем с лопаты меня кормили,
чтобы я выдавал перегретый пар.

Всем смешны
моя трость и мои перчатки,
газ моих фонарей, блеск моей брусчатки,
белый шарф авиатора, фетр и твид.
Но в трости – стилет,
в кармане – «дерринджер»,
я эпоху свою с ними как-то пережил,
даже если сегодня нелеп на вид.

А вокруг столько слов, что неон вышиты,
но обманны, лукавы, пусты, расплывчаты.
Индикатор сияет, как изумруд –
некто умный за клавиатурой трудится.
Но случись блэкаут –
и все отрубится.
Только поршни и шестерни не замрут
в час, когда мониторы и платы замерли.

Вот тогда приходите ко мне, друзья мои –
при свечах, оживляющих вечер весь,
без мертвящего светодиодов зарева,
за стаканчиком грога обсудим заново,
как вернуть словам
прочность, силу, вес.

РАЗГОВОР РЯДОВОГО С ВЕТРОМ

Пожизненно зачислен рядовым
запаса –
на любой пожарный случай,
стирая шею о хомут колючей
БУ шинели,
едкой, точно дым,
на переподготовку угодив,
в шеренге тех, кому не отвертеться,
я густо замесил проселка тесто
там, где стрелу изобразил комдив.

Он, солнечнопогонный и лампасный,
крошил о бор и пустошь грифель красный,
избрав 1: 100 000 масштаб,
поскольку в деле быть любил подробным –
и мы порядком двинули поротным,
куда ни гнул удар карандаша б.

А дабы служба не казалась мёдом,
ручным обременённый пулемётом,
я всё-таки насвистывал в строю,
покуда в задубевшую палатку
вдесятером не втиснулись, вповалку.
– Подвинься, кореш, распротак твою...

Ворочаясь на нарах жестче рельса,
засажен клином меж двоих детин,
уже храпящих, я кой-как угрелся,
да сон меня не брал.
И вот, один,
я выполз под луну для перекура.

Пал иней на долину. Сосны хмуро
мерцали на светящемся ветру,
клинками игл, подобных серебру,
грозя: штык – молодец, а пуля – дура.
За лесом строевым бледнела степь
без горизонта – как сама свобода.
И звеньями свисала с небосвода
стальных созвездий порванная цепь.

Я вслушался.
Шёл шорох надо мной
по хвое, по верхам – сперва невнятен,
но явственнее всё, как бы луной
проявлен в виде чётких черт и пятен
на вешнем, увядающем снегу.
Рисунки ветра двигались, дрожали...
Но я прочёл неверные скрижали
и до сих пор припомнить их могу:

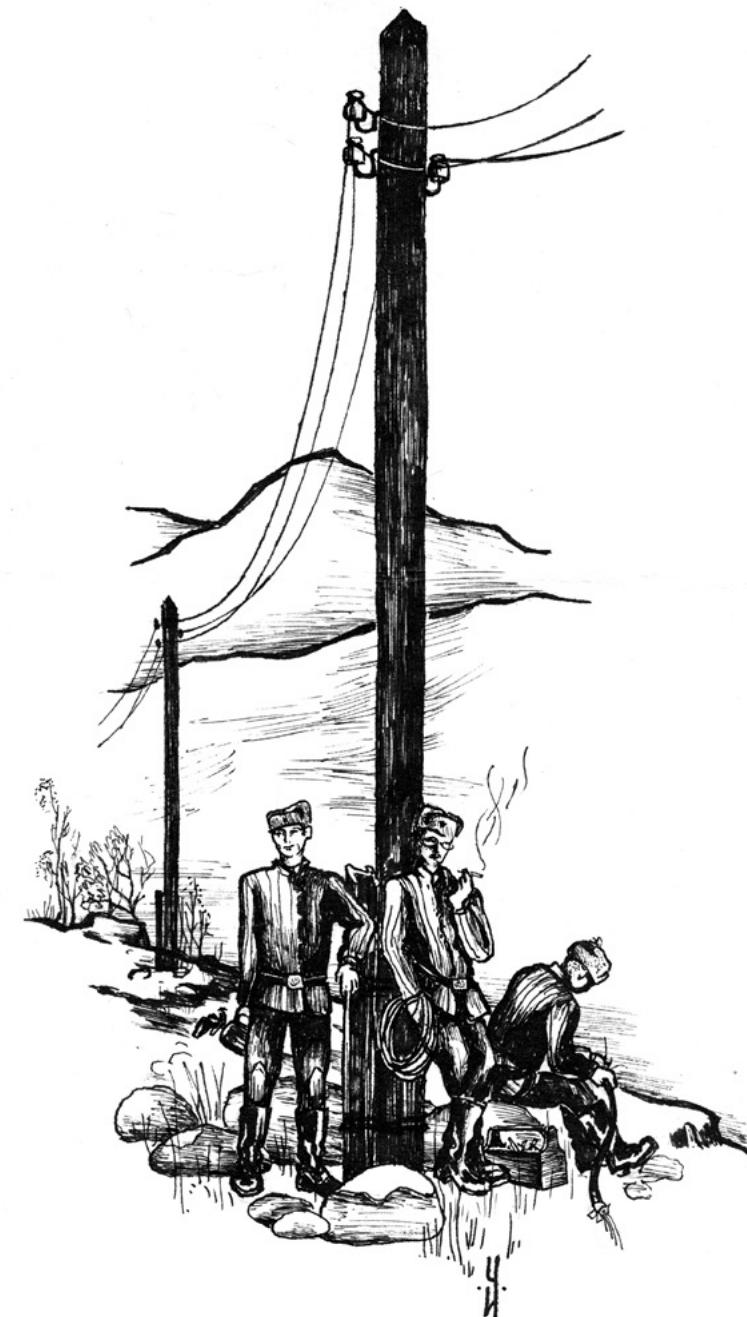


Рисунок автора,
1971 год.

«Мой пленный брат,
ты был крылат, как я,
тогда – до бытия, до колыбели.
Так воспарь, воспрянь!
И впрямь – тебе ли
влачить ярмо, крылатость затая?
Все небеса твои, а ты бредёшь
в своём строю, неволею навьючен,
готов терпеть и умереть научен
как повезёт –
быть может, ни за грош.
Я прах таких, как ты, ношу века,
неисчислимы пращники империй.
Но ты живым со мной умчишься –
первый!
Летим же, брат, не рассвело пока!»

Я усмехнулся: право, воспарить
и рад бы – да ведь я не институтка.
Уймись, Эол. Мне надо прикурить.
Не мельтеши – погасла самокрутка.
Послушай рядового.
Рядовой –
не от рожденья, но трудом и потом –
я выбился из знати родовой,
из прадедов и дедов, по штрафротам
хлебавших лихо ложками стыда,
сполна – за вековую спесь княженья.
В четвёртом поколеньи униженья
погашен долг –
вчистую, навсегда.

В ряду людей –
а ряд людей велик –
теперь, когда я выкуплен на волю,
комдив – и выше – существуют лишь
в той степени, в которой я позволю.
И судьи мне на свете – только те,
с которыми я мыкаюсь во взводе.
Так ветру ли учить меня свободе,
шумящему о ней лишь в пустоте?

Швырнув окурок в небо, я нырнул
обратно, в храп. Брезентом брешь заделал –
и отрубился. Завтра в караул.
В четверг – помывка.
В пятницу – на дембель.

ОДА ВЛАСТИ

Иной, именем облачен, как платьем,
всё ноет, что несправедно гоним.
А что поэт? Пускай, ему не платят,
зато никто не властвует над ним.

При власти вечно – черт бы всех побрал их! –
то хунты из жандармов да царьки,
то шайки вороватых либералов,
бесчинных, как в курятнике хорьки.

Границы отворяя с воплем «велкам!»,
круша завет им чуждой старины,
как фомкою, правами человека
орудуют, вскрывая сейф страны.

Затем имперцы их винят в провале
и обещают всем повысить МРОТ,
народ же – вместе с птичьими правами –
при тех и этих потихоньку мрёт.

Власть пыжится – от шпор до эполета.
Но трачен скипетр плесенью и ржой.
Священна в мире только власть поэта,
поскольку крови нет на ней чужой.

Ей и решать, где пахари, где воры,
кто каты, кто свободны, кто рабы.
И лишь она выносит приговоры
владыкам, чьи повапленны гробы.

Да, в золото строку не переплавить,
но золото в строку – ещё трудней.
Продолжим же, собратья, миром править,
как Бог судил нам от начала дней.

СНЕГОВИК

Подтаёт снег, я во дворе слеплю
снеговика. И назову – Емеля.
Простое и понятное люблю,
к нему никак прорваться не умея.

Меж мусоркой и серией ларьков,
близхлама из поддонов и коробок,
восстанет он. Раз нету угольков,
глаза Емеле сделаю из пробок.

Пакет «Бристоля» станет колпаком.
А в остальном – пускай предстанет голым.
И тайный знак впишу в срединный ком –
евреи бы сказали: это Голем.

В ряду творений неживого нет.
Теперь, благодаря моим стараньям,
легко следить, как этот грязный снег
нальётся жизнью собственной и странной.

Простое и понятное люблю.
Остановлю его, пока не поздно –
и с детворой снежками разбомблю.
Я всё испортил,
всё опять не просто.



ГОВОРИ

В пору краха страны, бушевавшего хлеще огня,
перечел и «Хождение по мукам», и «Жизнь Самгина»,
понял, что и тогда горлопаны вопили не в меру –
мудрецы, и жрецы, и лжецы. Но в конце-то концов
всё сводилось к тому, что учили невежды глупцов
и глупцы разносили невежество, точно холеру.
Были вздорные споры в смятённые, смутные дни.
Было мало прозрений и много пустой болтовни.
Но, хотя я и сам говорил невпопад, бестолково,
как не прятал лица от секущей и жгучей зимы,
так не прятал сутулого Я за забором из МЫ,
и, когда призовут, сам отвечу за каждое слово.
Разделяю вину в том, что смысл не сумели сберечь,
и в итоге уже до конца обесценена речь,
став подобием гула, всполошного птичьего грая
или родом безумной и как бы бесплатной игры,
суть которой в одном: говори, говори, говори.
Всё оплатишь потом, но не думай об этом, играя.

КРУШЕНИЕ

1

Пробоина была огромна. Помпы
захлёбывались в трюме – и пожар
сжирал корму, вылизывая пену
систем огнетушенья. Капитан
единственно возможное решенье
избрал – и страшный факел корабля
повел на мель, на камни мыса.
Там,
топыря вывих ржавого руля,
корабль поныне спит.
Его крушенья
всё длится – и ленивая волна
не торопясь смакует вкус железа.

2

Пускаясь вплавь от глыбы волнореза,
я утопил бинокль – но донырнул
и спас игрушку.
Греб одной рукой,
держа в другой намокшие пожитки,
доплыл насилу...
Ухватясь за край
пробоины, упал во тьму отсека,
ослепший, задохнувшийся. Глаза
осваивались с необъятной тенью.

3

Я прозревал –
и первые мгновенья
испуга помню: был корабль велик
снаружи, но внутри его огромность
была невероятна...
Мертвый гул
бродил в провалах обгорелых палуб,
в проломах переборок. Коленвал
оскалил исполинские изломы,
и, взрывом искорежены, над ним
переплелись трубопроводы, трапы –
гигантская железная труха,
изъеденная ржавчиной и солью.

4

Оскальзываясь пяткою босою
по слизи (застоялая вода
пятнала днище илом),
я с опаской
пустился вглубь
увечных, рваных недр.
Волна снаружи била в борт – и пенье
ритмичное рождала пустота
угрюмых трюмов.
Ошалелый крабик
рванулся боком, увидав меня,
и спрятался под рухнувшую балкой.
И больше – ни движенья.
Только гул
вital в громадных сумерках крушенья.

5

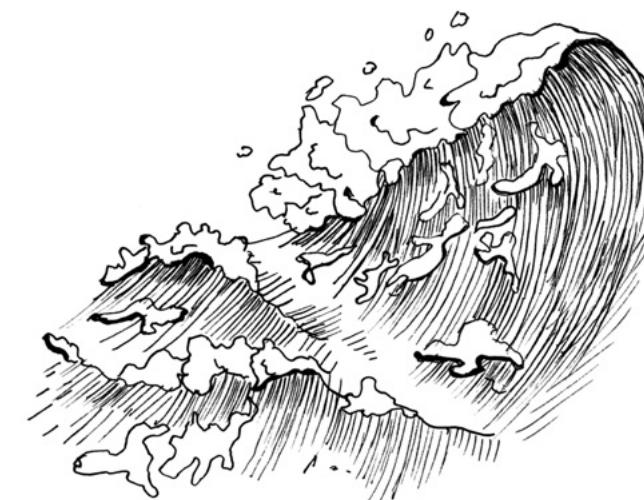
Тогда впервые это ощущение
пришло ко мне. Я дожил до него.
Достранствовал, доплыл. Досомневался.
Доплакал, дометался, долюбил.
Оно возшло со дна, где скользкий ил,
обломков хаотичные скрещенья,
где дрожь и прах.
Я понял, ощутил,
услышал кровью властный зов крушенья.
Впервые гибель встала предо мной
во всем величье честного покоя.

Корабль пел свой реквием.
И стоя
я ждал, когда аккорд очередной
ударит... Помраченье ли ума,
фантазия, прозренье ли – неясно.
Но, вея душным тлением соблазна,
безмерная ко мне тянулась тьма.

6

Однако краски я сгустил весьма.
А здесь и до меня бывали люди:
безвестные Антоша, Жора, Рудик
свои запечатлели имена.
Какие-то крутые молодцы
восславили ансамбль «AC//DC».
И – списком – дембеля четвертой роты.
Левее – крупно, мелом: «ОБОРМОТЫ».
А надо всем, на ржавой высоте:
«МЫ ВСТРЕТИМСЯ»...
Кто, с кем, когда и где?

– Где?.. –
крикнул я, стяхнув оцепененье.



Корабль пел – и долго это пенье
затылок холодило мне, пока
я плыл назад. Там грузно и покато
вздыхалась твердь.
Коптил мангал заката,
пузатые румяня облака.
И пышная красавица под сорок –
дебелая природа –
каждый шорох
намеком отравляла: «Обними!

В саду прелестных божьих насаждений,
что ты теряешь, кроме наслаждений,
нескромных, но обычных меж людьми?
Ты поражен сомнением, как проказой –
так исцели себя! Ведь втайне каждый
мир делит на себя и остальных.
И, сладостью насытись хорошенько,
уйди пристойно, тихо.
А крушенье –
удел вещей огромных и стальных...»

Стонет во сне вода.
Лунным клеймом отмечен,
прочь отлетает вечер.

Встретимся ли когда?

Морем скользит звезда.
Там, далеко отсюда,
мечется чье-то судно.

Встретимся ли когда?

Целые города
прошлого за кормою.
Края не видно морю.
Может быть, ждёт беда
в поле валов несчетных,
тяжко летящих, чёрных,
зычных, как поезда.

Встретимся ли когда?

Камни, остры, со дна
целятся точно в днище.
Вихрь, ликуя, свищет.
Грозная глубина
тянет тебя к ответу:
чем ты гоним по свету,
что ты впотьмах искал?

В буйную эту полночь
жутко и сладко вспомнить
остов у диких скал:
рыжую сталь бортов,
щерящую в зевоте
рваные дыры, вроде
вспоротых криком ртов.
Словно в момент последний
волей – почти посмертной –
большей, чем злой азарт,
выжав свой «самый полный»,
что-то корабль понял,
да не успел сказать.



Творческий тандем
Васильев/Чурдалёв:
музыкально –
поэтические
композиции.
[youtu.be/
b7zV19jtGro](https://youtu.be/b7zV19jtGro)

КАРАВЕЛЛЫ

Вот мы и приплыли.
За отмелью берег высок,
но пляж,
идеально раскатан прибою валами,
полого восходит к лесам, походящим на сон.

Здесь флот поколения врежет форштевни в песок,
гася навсегда паруса, как холодное пламя.
И можно в молчаньи на призрачный берег сойти,
без споров и слов запоздалых –
в них мало добра ведь,
когда подытожено, кто чего стоил в пути,
и к этому больше уже ничего не добавить.

Приплыли.
Подбиты балансы, закрыты счета.
Бессмысленны ревность и зависть – и вся суета,
поскольку приплыли – совсем, навсегда, отовсюду.
Сойдём в неизвестность, былым никого не коря.
Бортам опустелым теперь не нужны якоря.
Пусть боцман уронит фонарь, покидая каюту.

Но гляньте – пока за спиной догорают суда,
там, в чаще, чудовища
жаждут не нашей ли крови?
Мы сами свой суд. И не будет другого суда.
Шагаем же дальше –
и держим клинки наготове.

TV

Жизнь тарыхтит вокруг,
что одряхлевший дизель.
А сдвинуться – никак.
Но тошно жить скорбя.

Поэма умерла,
и можно втиснуть в тизер
весь этот ветхий мир, уставший от себя.

Великое кино течёт светло и плавно,
а мы лишь лепим клип, в горячке мельтеша.
Даю на монтаже в секунду по три плана,
и так же мельтешит внутри меня душа.

Мы дамбы залатать где надо не сумели –
и грязный век бурлит, со дна вздымая муть.
При чем тут времена,
заткнитесь, пустомели.
Уже не связь времен распалась,
но минут.

Сметаемы, пройдем, как могикане, канем.
Повертимся в струе и сами станем дном.
Но лично я –
за то, что умножал мельканье.
Как лопасти, предстал расплывчатым пятном.

В СУМЕРКАХ

1

На улицах, исчезнувших давно,
ознобно, бесприютно и темно.
Теперь они – бессвязные фрагменты
в немом провале прошлого. И там
затертый фильм все крутят под регтайм,
наложенный на стрекот киноленты.
Оглохшей черно-белой зимой
там всё немое. Кружит снег немой.
Нигде впотьмах ни шороха, ни слова.
Ничто здесь немоте не даст отпор.
Она – закон, когда бы не тапёр,
парящий над октавами былого.
Беззвучно годы падают ко дну
и оставляют музыку одну,
не помня ни о сути, ни о слоге.
Так наша речь, однажды отзвучав,
теряя смысл, но, сохранив печаль,
становится мелодией в итоге.

2

Ни тьмы ни света в мире больше нет.
Померкло нынче всё, чему блисталось.
Бредёт, как водолаз на глубине,
зима, подслеповатая под старость.
Вокруг и впрямь – замёрзшая вода,
а мех скафандром служит для заплыва.
Здесь сумерки жемчужные всегда,
в них рыбы фар плывут неторопливо.
Парад видений. Тени темных стен.
Туманных окон тусклые квадраты.
Всё сумерки да сумерки весь день.
И ночи не густы, но бледноваты.
Позёмкою стези занесены,
пути сокрыты, судьбы неизвестны –
ни тем, кто доплывает до весны,
ни тем, кому не вынырнуть из бездны,
кто остается в зыбкой глубине,
вставая в ряд её старинных стражей,
с шандалами на ломберном сукне,
с бокалами да парюю «лепажей».

САД РАДОСТЕЙ ЗЕМНЫХ

Знал райские деньки, но и платил за них
в аду, где чёрт меня поныне поминает.

Сад радостей земных
и горестей земных –
один и тот же сад для тех, кто понимает.

Там вовсе нет чужих,
но живы все свои,
и доля их полна и счастья, и несчастья.
Там обитает Змей, и свищут соловьи,
и горечью плоды познания сочатся.

Там нечего терять, где все –
восставший прах
и станут им опять, греховны или святы,
где нагишом кружат любовники в полях,
не ведая стыда и не страшась расплаты.
Где мак и коноплю вовек не прополоть,
где правы лишь певцы –
и бред несут авгуры.

Вставая в хоровод, и я был страсть и плоть,
а дух на эти дни, должно быть, брал отгулы.

Да будут сплетены не вечные тела,
бледны, как облака – и желтые и афро.
Да будет им весна, душиста и тепла,
да будет рок-н-ролл –
на то кимвал и арфа.

Не размыкайте круг.
Пусть в кайф, впазд и в масть
ложится каждый миг любви быстротекущей.

Запомните её, она запомнит вас
как собственных детей в траве.

И как смеясь
смотрел на вас, лукав,
Создатель из-за куцей.



ПЕЧАЛЬЮ НИ ОДНОЙ НЕ ОМРАЧИВ ЧЕЛО...

Печалью ни одной не омрачив чело,
среди родственных светил витал себе в тумане.
Не верил ничему. Не жаждал ничего.

А всё-таки – зачем он прилетал к Тамаре?

Ужель и сын небес, невозмутимый дух,
на слабый свет Земли стремясь во тьме кромешной,
почувствует тепло, оттаивая вдруг,
и над собой труня, подумает с усмешкой:

«Куда б ни воспарил, не сладко без подружки,
что перьями из крыл твоих набьет подушки...»



КАРТЕЗИАНСКОЕ

Мушкетёр Декарт Рене
пехотинцем к Ла-Рошели –
шёл, не забываясь в щели –
на войне как на войне.

Бились или пировали,
были с гибелью на ты.
Он о Божьем бытии
размышлял тогда едва ли.

Шпагу знал и толк в вине,
в кости, в карты – как по нотам.
Да палил по гугенотам
мушкетёр Декарт Рене.

На рожон в горячке лез,
но не получил ни раны –
на Рене другие планы
явно были у небес.

Шёл в атаку между тел
мёртвых, караул посменно
нес – и Методом Сомненья
вряд ли он тогда владел.

Раздроблялись черепа
в шляпах гнутых и пернатых,
но в его координатах
страх не значил ни черта.

Видел жизнь и смерть в лицо
среди дружков длинноволосых.
И не знал, что он философ.
Просто счастлив был – и всё.

СМОК

Памяти Дмитрия Смолкина

Глядя сквозь дым поверх огня,
супась литым
надбровьем на брешь окна,
затянешь до задворок своих альвеол,
выдохни ворох
тумана на залитый стол,
где на клеёнку налипли чешуйки, дрянь
снеди убогой, жизни немногой...
И прикармань
«Примы» остаток, прежде чем лезть в пальто.

Кто поднимает парус шарфа, кто
выстрелил дверью, в плаванье уходя
на микропоре своем в дробную даль дождя,
пирс покидая, соленый от слёз шлюх –
перекури решенье, покуда табак сух.

Так он уходит в дым –
капитан Смок.
Он от компаса топор отличить не мог.
Он понимал «Маяк» на средних волнах.
Он поднимал коньяк под склянки «ямах».
Он распилил ржавый водопровод,
чтобы узнать по плеску – куда плывет.

Вдуматься если, дым – тот же дом:
вылепил формы прокуренного жилья.
Если теперь образовать проём –
плывём,
перетекая фигурами – ты и я –
в нечто, чем ветры веют в свои края.

Воздух будет туманен, почти мокр,
с присвистом хлестким из-за морей придя.
Кто-то вдохнет тебя,
капитан Смок,
с каплей продрогшего в вышине дождя.

...Жалят меня,
жалея, желая добра.
Дабы бросил курить – иглы из серебра
в уши вонзают. Слышу: прибой лета.
Покер, загар, прибой.
И сигарета выиграна тобой:
шельманул под шумок?
Дай затянуться, Смок,
раз за тобой игра.
Слышу: рецепт Тибета,
иглы из серебра.

Капитан Смок в смокинге цвета хаки.
Джентльмены смолят траву,
на ней – дрова.
И приносит кальян плавная Мата Хари,
и клубятся её дымчатые рукава.

Эти быстроживущие сизые кольца –
атоллы воздуха. Синь их лагун
располагает выстроить бунгало возле
прибоя, тающего на берегу.
Впрочем, и берег тает.
Значит, время
в час плетёных кресел и сумеречных сигар
обговорить туманнейшую проблему:
почему Минздрав лгал.

Ведь если всё дым, включая фундамент,
развеивается и дорога домой.
Мы не вернёмся, Смок.
Без нас хватает,
песен про всё, что с белых яблонь – долой.

Вечером можно думать, ночью плакать.
Боже, ты выдохнул нас –
куда?
Как форму бронхов твоих, храним память,
утекая в расплывчатые года.

Мы дым, Смок. Это болезнь века,
не скажу про иные века.
Стелемся – или ищем верха,
въедаясь в грязный мел потолка.

В небе – атомы «Мальборо» и «Памира»,
дымком припахивают грибные дожди
над вигвамом,
где пускают по кругу трубку мира
размалёванные – как бы охрой – вожди.

КРАПЛЁНЫЕ ЛИСТЬЯ МЕЧЕТ НОЧЬ...

Краплёные листья мечет ночь –
а все же игра стоит свеч.
Воспой же, ветер шальных нот
грядущего утра большой свет!
Свет, который...

Но нет, нет,
мы не умеем назвать его,
как дети, плакавшие во сне
утром не говорят – отчего.

Определения – мой конёк,
который...
И прочая, и т.д.
Когда понимаю, тогда жетон
определенья швыряю в щель
меж полушарьями мозга. Но
когда не могу понять – пою,
подобно волку в лунном снегу,
понять которого мне не дано,
но выть о котором я могу.

Потом, когда через тысячи лет
разбудит нас предречённый свет
и мы – младенцы среди травы –
приступим к веселой детской возне,
мы легко узнаем лица своих
по следам слёз, пролитых во сне.

Свет, который...
Но нет, нет –
мы не умеем назвать его,
как дети, плакавшие во сне,
утром не говорят – отчего.

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ, НЕЗАМЕНИМЫЙ...

Игорь Чурдалёв был для меня одним из самых важных людей в жизни. В каком-то отношении – самым важным. Произносятся эти слова, я имею в виду даже не ту сферу, в которой он реализовался полным и ярким образом, а некий исходящий от него неписанный свод правил, требований и запретов. Кодекс отношения к миру и друг к другу, к женщине и мужчине, государству и власти. Который поначалу изумлял своей несхожестью с усреднённо-обывательскими нормами, а потом – по мере углубления знакомства – порождал острое желание если не следовать буквально, то хотя бы стремиться это делать. С годами отчётливо уясняешь, что Игорь учил нас – своих товарищей по цеху, последователей, учеников – вовсе не писать. Сам он всегда знал и понимал, что научить писать невозможно – человек либо обладает да-



Дмитрий Токман,
поэт и журналист.

ром, либо нет. Игорь, желал он того или нет, учил жить – в лучшем из возможных смыслов этого избитого выражения. Он просто показывал на собственном примере, что он считает приемлемым и что недопустимым. А уж следовать ли этому примеру в соответствии с флотским принципом «делай как я» или нет – дело твоё и только твоё.

На внешнем, визуальном уровне Чурдалёв последовательно и мастерски разрушал шаблонный образ поэта как божественного, де-социализированного существа в лохмотьях, с немой головой и «подвижной» психикой. Он остался в моей памяти одним из самых элегантных людей, не только отдающим себе отчёт, что в России от века встречаются по одежке, но и получающим от участия в этой игре максимально возможное удовольствие.

Общение с Игорем было школой не хуже

Шаолиня – постоянное чередование жёстких реакций и мягкого юмора, холодного анализа и эмоционального порыва. Он был непредсказуем – и неудивительно, что кого-то подобный темперамент мог оттолкнуть. Важно, что меня, и не только меня, он притягивал. И – что более важно – обеспечивал это притяжение в течение многих лет.

Конечно же, тем, кто любил Игоря, будет всегда не хватать его харизмы, изощрённого остроумия, острой интонации, умения дать точную, лаконичную, порой убийственную характеристику множеству событий, людей и явлений. И утешением здесь может выступить лишь то, что сущность его честно распределена по тысячам стихотворных строк, которые можно бесконечно изучать и столь же бесконечно извлекать из памяти. А значит, для творца нет не только времени, но и смерти. Какие ещё нужны доказательства?

ОГОНЬ ЖИВОЙ

Стихи Игоря Чурдалёва поражают поэтическим бесстрашием. Это не только (и не столько) проблематика, обращение к которой требует гражданского мужества, но и повседневная отвага касаться неотменимых трагических сторон бытия. Тех самых, от которых привычно хочется спрятаться в быт, работу, секс и во что угодно ещё.

Человек смертен, идеал недостижим, смысл жизни – та ещё химера; мы не можем не только реализовать данный свыше потенциал и стать окончательно счастливыми от этого, но даже понять, чего, собственно, хотим по-настоящему. А значит, нет никаких опор в мире, где всё зыбко, хаотично, непрочно, включая все известные системы смыслов и ценностей. Стабильность нестабильности, логика абсурда. Чурдалёв имеет мужество принять мир таким, каков он есть, и выстоять один на один с ним, вооружившись свободой и силой мысли.



**Светлана Холодова,
поэт.**

Художник – вне позы жреца и судьи
провидящих, бездны пронзая.
Почти наугад он бредёт меж людьми
по минному полю познания.

Последней воронкой отмечен рубеж,
а дальше ведёт лишь отвага,
И места подошвам хватает в обрез
для каждого смертного шага.

Там дремлет земля – неоткрытая сплошь,
слабеющих подстерегая.
Неверное слово, малейшая ложь –
и всё. И прощай, дорогая!

Однако в этом поединке духа не всё подвластно разуму: есть нечто (и для художника особенно) одной только мыслью не постигаемое.

...Пока ещё плывет в густой ночи
огонь живой – а знаешь, так молчи,
не добавляй искателям соблазна.
Не мало их и так легло костями –
ведь берега пустыни и темны
и Авель мёртвый в небе – не напрасно!

Не верил ты пугающей луне
и лодку гнал наперерез волне,
как будто настигая понемногу
огонь живой,
рассыпчатый, как смех
над жаждой постиженья вся и всех,
плывущий до сих пор –
и слава Богу.

«Я обращаюсь к поэзии, если не могу обойтись только логикой, только прозой», – неоднократно говорил мне Игорь.

«Ты не знаешь, ты не знаешь, что такое эта скрипка, что такое тёмный ужас начинателя игры!» – предупреждал в начале XX века другой русский поэт. И был прав: посмотреть в глаза чудовищ, в тёмные бездонные очи Горгоны может быть равносильно смерти. Но какая бы тьма вместо света ни возникала в конце тоннеля, тема пути в стихах Чурдалёва, бесконечный поиск им абсолюта, священного Грааля, оправдывающего присутствие человека в мире, бесконечно варьируясь, к финалу достигает органной мощи.

В коленах улиц Иерусалима,
где в лабиринте одного базара
сошлись все веры мира, все эпохи,
все языки Земли –
искал и я
бесспорных истин, очевидных смыслов
стезей прямых, ступеней восходящих,
ведущих из Геенны на Голгофу.

Абсолют существует до тех пор, пока его ищут. Вот о чём для меня в первую очередь поэзия Игоря Чурдалёва.



ЧУДЕСНАЯ ЖИЗНЬ

СЛУШАЕМ ПТИЦ И ВЕТЕР...

Слушаем птиц и ветер,
сбежав от дел.
Скрипы стволов. В заводи тихий всплеск.
В этот последний, быть может,
погожий день
лес не спешит скидывать кроны с плеч,
словно календари ему нипочем –
лишь, наклоняясь к струям живой воды,
яблоня дикая
молится над ручьём,
в быструю гладь сбрасывая плоды.
Падают яблоки в небо,
где напрямик,
сизую стужу взрезая, не глядя вниз,
тоненький след волочит истребитель МиГ,
точно паук из себя извергает нить.
В нём прозябает мужественный пилот,
в звании младшего ангела принят в сонм.
И невдомек ему,
что он плывет, как плод
яблони дикой, в малом ручье лесном.
Запад уже погас – но ещё не весь,
Искры небес тлеют на ветерке.
Яркая тьма укрывает нас.
И невесть
чем отразимся в млечной её реке.
Обременённая звездами, с высоты
ночь, словно крону, клонит свое чело
к миру, который создан для красоты.
И, вероятно, больше ни для чего.

ОТПУСКА

Спокойствие лет этих не было полным,
хотя и удушливый ветер, а дул.

И плыть по нему почитали мы подлым.
Но плыть супротив – безнадёжная дурь.

Юнцы – не до крайности самоубийства,
а все же хворали. Диагноз – тоска.

И выход слабейших:
отвлечься, забьтсья,
занять, где дадут – и махнуть в отпуска!

Балдели, витийствуя или спиваясь
под сенью платанов и пляжных панам.
И нас покидали желанья, сбываясь.
А вкус обладания был не по нам.

И вот, не боясь проявить мягкотелость,
с позевкой, достойною сытого льва,
рукою махнул я –
не очень хотелось! –
что горько, душою почти не кривя.
Преграды мельчают. И преодоление
лишается смысла...

Зачем же тогда
мы плачем у первых могил поколенья,
не только от скорби, но и от стыда
за дни, что мелькнули как бы между прочим –
был хор их нестроен и разноголос.
А так же за то, что хотелось не очень.
И ровно настолько в итоге сбылось.



ГОРИ ВСЁ ОГНЕМ..

Гори всё огнем.
Зажигай. Куролесь. Колеси –
пока не замшели, пока под отчаянных косим –
на шустрых японских колёсах, под Битлз,
по Руси –
с подружкой нежной, как эта погожая осень.
Просёлком, незримым для Googl*a,
в большие поля –
не те, что в бумагах послушны
бездушному Word*y.
Подальше от сводок –
к деревьям, не помнящим зла.
К траве, воздевающей стебли
к последнему вёдру.
Мир не изо лжи.
Он как Бог достоверен.
И в нем
мы сами городим пустые, лукавые бредни.
Но лес коронованный молвит:
Гори всё огнем! –
и прахом идут федерации, фонды и бренды.
И жизнь открывает
свой самый старинный секрет,
в святой наготе обнимаясь в чащобе с тобою.
Прими её искренний дар –
и да будешь согрет
последними днями тепла,
как последней любовью.

PIN-UP

О злом забудь, о добром вспоминай.
На счастье, память –
инструмент неточный.

Блондинки в целом жанр не мой, но май,
луна и берег – всё сошлось отлично.
Креветки, брют...
Подробностей опричь,
но,
пейзаж смотрелся точно китч лубочный.

Я был ему под статью.
В сплошной фирме –
родной, а не какой-нибудь палёной.
И как влитой сидел тогда на мне
Levis 501, слегка пилёный.

Блондинка...
Яркой юностью слепя,
исчадые сленга, колы и попкорна,
податлива, но не скажу покорна,
скорей придурковата, чем глупа –
жила по кайфу, клёво и прикольно.

Журчала и звенела, как ручей,
и не изображала недотроги.
Как говорится, ноги от ушей.
Хотя, ушей не помню – только ноги.

В густом загаре, локонов темней,
преследуема взглядами парней,
плейбоев провоцируя на смелость,
цвела она –
и было всё при ней.
Чуть волосы темнели у корней,
но кто заметит эту мелочь.

Теперь об этом странно рассказать,
ведь та блондинка – ровно жизнь назад
развевалась, как дымом ставший порох.
Невежда должен на себя пенять,
безвкусица, казарменный pin-up,
удел его, а сам он лох и олух.

Но я умнел.
Не разом, по чуть-чуть.
Оттачивал рассудком стрелы чувств,
развевая мороки, как пепел,
к седым летам вполне установив,
где истина, где глупость и наив.
Я понял всё.
Но счастлив больше не был.

МОРСКОЙ ВОКЗАЛ

Горят огни рубиновых сигналов,
что значит:
«Осторожно! Я иду».

И он идет – и тяжело входит в гавань,
толстяк в поту.
Он возвратился из роскошной дали,
где города,
в которых мы покуда не бывали.

Не говорите слова «никогда».

Всё некогда. То не хватает денег,
то – куча дел.
Ты в магелланы выбиться хотел,
а в результате – массовик-затейник.
Но, может быть, ты видел среди льда
себя бредущим к полюсу, как Нансен?..
И труд завхоза тоже не напрасен.

Не говорите слова «никогда».

Пускай заткнётся пресловутый ворон.
Бессильна тьма, и безработен Воланд,
и приговор не вынесен, пока
нас держит над уделом червяка
Несбывшееся вечными крылами,
в то время, как достигнутое нами –
меж пальцев уходящая вода.

Не говорите слова «никогда».

А если поздно – и уже сказали,
что делаете ночью на вокзале?
Пришли сюда,
чтобы потрогать судовые сходни
с привычной мыслью: «Только не сегодня...»

И – никогда.

О МОРЕ

Ступаю на пирс, где корабль-исполин
нацелил железного корпуса клин
на марево в ярком просторе.

Ни с чем этот мир голубой не сравним,
где вечным подростком скитается Грин,
где блики на жирных боках субмарин
и жгучие запахи соли.

Я сын моряка и брат моряка.
Как белая чайка, быстра и легка,
пикирует в светлую воду,
я в пену кидаюсь с полосы песка.
Дорога до встречи была не близка.
И вот – обретаю, что долго искал –
безмерную моря свободу.

Всё было – и юность неслась на волне,
и первая боль оседала на дне,
и жажда тянула к прибою.
Всё скрылось во времени, как в пелене.
И всё-таки жизнь не приснилась во сне,
ничто не пропало, оставшись во мне
прозрачной и горькой любовью.

Шуми, моё море. Сверкай и шторми,
чтоб жило приволье твоё меж людьми,
чтоб мелкое в нас отступало.
Своей необъятности дай нам взаимы,
чтоб не издержались по мелочи мы,
чтоб в круге грошовой пустой кутерьмы
великое в нас не пропало.

Я сын моряка и брат моряка,
но накрепко держат меня берега,
клещами сойдясь над заливом.
Согласен, что я никудышный матрос.
Но в том моя гордость, что спеть довелось
о море родимом, солёном от слёз,
и всё-таки – море счастливым.



Творческий тандем
Васильев/Чурдалёв:
музыкально –
поэтические
композиции.
[youtu.be/
RqVTyM8nLv8](https://youtu.be/RqVTyM8nLv8)

ПЛЯЖ

Матрон раблезианские тела,
вьюны-подростки, тощие от страсти,
охотницы, сгоревшие дотла,
фатовые валеты жгучей масти,
отцов семейств пивные животы,
прыжки атлетов, млеющих в полете...

Короче – пляж, собрат сковороды,
весь в пузырях живой, кипящей плоти.
Он пьет прибрежный пенный отвар,
он впитывает зной – ничком и навзничь.
Он копошится. Он живет, как тварь,
способная рассасываться на ночь.

Но в час жары пляж неразъемен весь.
Лишь изредка, тоской или задором
подвигнут, обезумевший пловец
рискованно заигрывает с морем.
Сперва шутя – купанье, пустяки! –
но вдруг, как будто позван кем-то властным,
решительно уходит за буйки,
сменяя кроль экономичным брассом.
С высокой вестью высланный гонец,
потом он вовсе забывает стили,
и, видимо, решив – один конец! –
в один конец рассчитывает силы.

Но пляж не спит.
С ленцой, не торопясь,
вразвалочку, помалу-полегоньку,
морской бинокль нацеливает пляж
и катер с мегафоном шлёт вдогонку.
И – все дела.
Опять в песке, в тепле.
в прогал меж тел беглец впрессован туго.
Не сложно опознать его в толпе
по дрожи запоздалого испуга.

МЕДУЗА

Забыв перед пучиной робость,
морским созданьям уподобясь,
я плыл – и вот за рубежом
буйков, обозначавших область
купанья, чем-то обожжен,
отпрянул, локтем заслонясь,
и прекратил движенье ласт.
И обернулся... Предо мной,
почти в обхват величиной,
невразумительная тварь
неторопливо колыхалась,
сферообразная, как парус,
напрягшийся над глубиной.

Я поднял руку для удара –
но, видимо, не увидела
она опасности. И в бой
со мной вступать не собиралась,
лишь не спеша переливалась,
подобна лампе голубой.

И гнев мой схлынул сам собой.
Я думал: «Глупое создание,
не существо, но колыханье,
полупрозрачный сгусток, призрак,
едва таящий жизни признак –
я царь и бог перед тобой!
Что ты такое, чтобы жалить?
Да я тебя, когда б не жалость
к твоей убогости смешной...»
Но что-то сделалось со мной –
треклятый яд её, наверно,
наполнил мозг мой на мгновенье
и мгла нахлынула стеной.

Я был один среди бездны мрачной,
полночной млечности сродни,
тая внутри себя огни –
неслышно двигались они
в крови холодной и прозрачной.
Не страшно было, только странно:
как бы в плену киноэкрана
маячил некто вдалеке,
пылала на его щеке
пощёчина от океана.
И волей волн, больших и властных,
влеком, не ведал я о том,
зачем он жил – нелепый, в ластах,
с гримасой искажённым ртом...

Медуза дальше уплывала.
А я – до пляжного привала,
к своей кампании земной.
Ожоги смазал вазелином.
Мы пили рислинг над заливом.
Друзья смеялись надо мной.

Забыв перед пучиной робость,
морским созданьям уподобясь,
я плыл – и вот за рубежом
буйков, обозначавших область
купанья, чем-то обожжен,
отпрянул, локтем заслонясь,
и прекратил движенье ласт.
И обернулся... Предо мной,
почти в обхват величиной,
невразумительная тварь
неторопливо колыхалась,
сферообразная, как парус,
напрягшийся над глубиной.

Забыв перед пучиной робость,
морским созданьям уподобясь,
я плыл – и вот за рубежом
буйков, обозначавших область
купанья, чем-то обожжен,
отпрянул, локтем заслонясь,
и прекратил движенье ласт.
И обернулся. Предо мной
почти в обхват величиной
невразумительная тварь
неторопливо колыхалась,
сферообразная, как парус,
напрягшийся над глубиной.
Я поднял руку для удара –
но, видимо, не увидела
она опасности, и в бой
со мной вступать не собиралась –
лишь не спеша переливалась,
подобна лампе голубой.
И гнев мой схлынул сам собой.
Я думал: Глупое создание
не существо – но колыханье,
я – царь и бог перед тобой!
Что ты такое, чтобы жалить?
Да я тебя, когда б не жалость
к твоей убогости смешной!

А я не спорил со мной,
и выжидала поспешно
и таяла, как будто мгла,
едва касаясь волн.

Едва касаясь волн,
она не спорила со мной,
и таяла, как будто мгла,
и выжидала поспешно
и таяла, как будто мгла,
едва касаясь волн.
Едва касаясь волн,
она не спорила со мной,
и таяла, как будто мгла,
и выжидала поспешно
и таяла, как будто мгла,
едва касаясь волн.

ПРЕКРАСНАЯ

Свет приглушен, как будто тканью штор.
Пустынный пляж. Газету ветер носит.
Киоск закрыт. Рокошет жёлтый шторм.
На побережье
наступает осень.

А вдалеке –
помедли же! постой! –
прекрасная, босая, молодая,
судьбы моей секретом обладая,
проходишь ты по отмели пустой.

Не воротить. Прощай. Благослови –
чтоб век прожить без горького укора.
Чтоб умереть –
когда-нибудь, нескоро,
естественною смертью –
от любви.

У голубой каёмки блюдечка земли
пускай мне море вечно чудится вдали,
где, вместе ярости
и нежности полна,
о камни разбивается волна –
одна, вторая...
Зреют и грозят
и, сломленные, катятся назад,
мир изменив едва ль на волосок...

Но камни обращаются в песок,
а по песку –
постой же, задержись! –
прекрасная, босая, молодая,
о будущем пока ещё гадая,
проходит не оглядываясь жизнь.

О МОЛОДОСТЬ...

О молодость,
не обольщайся,
что всё с тобой переболит.
Под старость
острый вкус прощальный
еще нам губы опалит.
И жизнь,
тянись хоть сто столетий,
вся уберётся в две строки:
есть первый раз,
есть раз последний.
Всё между ними – пустяки.

И ТЕПЕРЬ, И КОГДА УМРУ...

И теперь,
и когда умру,
бить ключу в голубом бору,
в лад стволам гудеть на ветру,
розоветь траве поутру –
и теперь, и когда умру.

Веры тленны
и имена.
Вечность, если и суждена,
не крестам, не местам святым,
а цветам полевым простым.

Цвествь бы с ними,
да вот – нельзя.
Помяните ж, когда умру,
все, что билось во мне не зря,
словно ключ в голубом бору.

СКВОЗЬ ОПЛАВЛЕННЫЙ ВОЗДУХ ИЮЛЯ

Сквозь оплавленный воздух июля
мне видны января берега,
те, где жизнь, как угрюмая пуля,
на излёте уткнётся в снега.
Беспощадное некогда жало
вспомнит смевших стоять на пути
и, пузырчатый наст прожигая,
прошипит напоследок:
– Прости.

БЫТЬ МОЖЕТ, ПОД КОНЕЦ, ИГРАЯ

Быть может, под конец, играя
в зарю людского бытия,
и мы пройдем по кущам рая
с тобой, любимая моя, –
среди ветвей хитросплетенья,
в раздумьях о добре и зле,
в день созревания и паденья
последних яблок на земле.



НИТИ ПРОТЯНУТЫ В МИРЕ ТАКОМ

Нити протянуты в мире таком,
где мы с тобою – основа с утком
ткани посконной.

Не вместе ли ткали
все, что приходится перенести
через неторную жизнь.
И прости,
что не усыпал её лепестками.

Вечер настал.
Замечаешь ли ты,
как он сгущает настой темноты
и наполняет им
нас понемногу?
Видишь – там трижды проколотый мрак,
так молодой маркируют коньяк.
Вешки поставь и запомни дорогу.

Чтобы тебе не скитаться одной,
я подожду тебя у проходной
недорогого трехзвездного рая,
там, где прочерчена линия дней
на горизонте моем.
И за ней –
шелк бесконечности,
небо без края.

СОВЕРШЕННАЯ ОСЕНЬ

Запредельная ясность с утра –
очевидно, ветров переменной
колебаний и недоумений
в небесах завершилась пора.
И уже совершенная осень
подступает и дышит в лицо
еле слышным, но явственным очень
приговором своим: вот и всё.

Вот и всё – говорят эти кроны,
повторяясь на склонах стократ,
и пылают минувшие склоны,
и ушедшие рощи горят.
И мгновения каждого птаха
в остывающей выси видна,
где уже ни досады, ни страха –
только ясность до самого дна.

Золотая моя, голубая,
не сумевшая сбыться, увы! –
пропадай, моя жизнь, утопая
в лисьей шкуре опавшей листвы,
заметается огненным прошлым –
вот ещё один лист. И ещё.
И они отвечают подошвам:
вот и всё... вот и всё... вот и всё...

ДЫМ

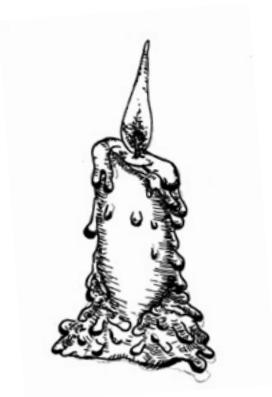
В этот плавающий вечер,
в назревающую осень,
что маячит вдалеке,
как таинственный разведчик,
из минувшего заброшен,
жгу бумаги в камельке.

Всё сгорело, что бывало.
Что засвечено на фото
в разных памятных местах –
поистлело, миновало,
позабылось отчего-то.

Вот поэтому в мечтах
ограничимся комплектом
органичным и уместным,
как текила/соль/лимон –
и сочтем его проектом
с резолюцией под текстом:
«Всё проходит. Соломон».

Только то, что не сбылось,
скучной Вечности примета –
не сгорает, дымом лета
не становится... Но это
на кольце не убралось.

Всё, что стало никогда,
что всегда не состоялось,
только это и осталось –
там, нигде, меж «нет» и «да».



ЧУДЕСНАЯ ЖИЗНЬ

Общителен я не очень,
и доступа нет чужим
в мою студёную осень,
в мою чудесную жизнь –
чтоб шла она, на спешила,
весь гвалт далеко послав,
насвистывая фальшиво
мотивчик Wonderful Life.

А впрочем,
не поздно ль прятать
от мира, тая и впредь,
что я разучился плакать
и не научился петь.
Леса не оценят позы,
поля не поймут спроста –
пусть дождь мне заменит слёзы,
а птицы меня простят.

Опять по золоту просек
туман ползёт из низин
в мою прозрачную осень,
в мою прекрасную жизнь,
которая в чащах свищет,
кружит листву дотемна,
поёт – и никто не слышит
того, что поёт она.

НАСВИСТЫВАЯ

Жизнь моя злая была порой,
неистовая.
В тартарары норовила скатиться
с обрыва – и
всё-таки я
прожил её, насвистывая,
звонко, как птица,
глупая, но счастливая.

Всё-то корили душу мою смешливую.
Слёзы печали лили
в сброженный сок её.
Но отвечал я – с ветки своей:
А шли бы вы –
В поле широкое!
В море красивое!
В небо высокое!



Умные, вы не живёте
в городе Китеже,
он для блаженных,
улыбчивых, суть – юродивых.
Что вы с таких возьмёте –
так отпустите же
кануть ко дну
радостной моей Родины.

Пусть и не ладно,
но весело с нею прожил я.
И растворюсь в ней,
словно степная конница,
зная: душа наша вещая –
птица Божия.
Смерти не помнит.
Поёт –
и не с нами кончится.

МОЁ СОЛНЦЕ

В годы, которые,
словно состав, грохотали мимо,
в стылом краю,
где вовеки не жить канцонам,
о, моё солнце! – мы пели.
'O sole mio! –
под непроглядным небом, слепым, свинцовым.
Путь наш был не по клумбам,
а дом – халупа.
Но и сквозь хмари падало нам на лица
солнце удачи –
как на квадрант Колумба,
как Бонапарту сияло у Аустерлица.
Между вагонов било – глаза ломило.
Кто-то хотел бы замедлить состав –
да где там.

О, моё солнце! – мы говорили,
'O sole mio! –
сладким подругам, красивым женам,
любимым детям.
Как ты играло бликами водной дрожи,
как заставляло плакать смолою сосны!
Сколько всего не сбылось под тобой,
но все же
больше сбылось, чем надеялись, моё солнце.
Доля моя светла, неудачи – мелочь,
хоть я и ехал в тамбуре, безбилетный.
Ты для меня остываешь теперь и меркнешь,
но я ещё поймаю твой луч последний.
Мы не постигли пока
главных таинств мира –
знаем вне разума,
что не разлюбим его, не бросим.
Может быть, каплей вольюсь в тебя я,
'O sole mio! –
и пусть мелькают впредь
стробоскопы вёсен.

ПРЕДЗИМЬЕ

Самый срок по народным приметам
на перины – обняться и спать.
Ночь прихватит морозца цементом,
а к полудню размокнет опять.

Колеи раскисают – и пусть их.
Так спрямляется наша стезя,
так распутица правит распутьем –
и захочешь свернуть, да нельзя.

Время вязнет, как в топях телега.
Но, пока я застыл, недвижим,
мой дублер, мой ЛГ, alter ego
мельтешить отправляется в жизнь.

Второпях не сменивший резину,
забывая перчатки и шарф,
во внезапную падает зиму,
сделав ложный по наледи шаг.

Укрываем белёсою тенью,
приминает пороши пласты,
где сметаемы юной метелью
пожилые остатки листвы.

Он и сам на сугробах замешан,
на погибшей под ними траве –
и давно уже снег незаметен
на его ледяной голове.

СНИМОК

Перехитрив недуг,
благодаря заботе
врачей, вернулась вдруг
душа в обитель плоти.

...Снаружи дом обшит
каким-то драпом тёмным.
Внутри – вполне обжит.
Но только кем – не вспомнить.
Душа с огнём в руке
бредёт наверх понуро.
Что там, на чердаке,
под крышей из велюра?
Пережитого хлам
здесь кое-как свалили.

И плесень по углам.
И все под слоем пыли.
Мартышка, грузовик,
лошадка без копыта...
Ничто не говорит
о детстве. Всё забыто.
Вот глобус... Что за прок
в разметке карандашной
несбывшихся дорог?
Душа бывала дальше.
Здесь свод успел протечь...
Вот рукописей свалка.
Размытых строк прочесть
нельзя теперь. А жалко.

...так мыкалась душа,
совсем уже поникнув,
покуда не нашла
поблекших фотоснимков.
Два молодых лица,
виньетка морвокзала
и море без конца...

Заплакала. Узнала.

EXPERIENCE

Я менее минуты пробыл вне –
и возвратился, странно улыбаясь:
не конвульсивно, но светло, спокойно,
как бы вполне осознанно – настолько,
что даже дама-реаниматолог,
вернувшая меня таким разрядом,
что от груди полдня несло палёным,
спросила без иронии:
– Что видел?

Но я не видел ровно ничего,
ни тьмы, ни света, ни теней в туннеле,
ни дайджеста зазря пропавших лет,
а канул в абсолютное Ничто –
такой и мнится полная свобода
душе, способной быть или не быть.

Стоял октябрь, кристальный и бездонный.
Тем утром с неба рухнул ранний снег
и воздух тек в меня, как мед студёный,
а слаще ничего под небом нет.

Без лишних черт, и тайн, и линий к спектру
открылся свет, приняв меня назад.
Есть многое, Гораций, что не к спеху
узнать – как мест, куда не опоздать.

А здесь – нам жить наперекор летам,
покуда нас до обуха не сточат.
Лишь грустное лицо моё не хочет
терять улыбки – обретённой там.

АКВАТИНТА

В шатком бесцветном времени,
лязгающем, как трамвай,
в следующих годов марево убывая,
только не забывай меня,
только не забывай,
там, за слюдой дождя, в сутолоке трамвая.

Пусть за тобой искрятся
капли – алмазный прах.
Многие дни ещё вспомнятся и приснятся.
Только не забывай меня,
из виду потеряв
за поворотом лет, за кисеей пространства.



Наше тепло пропало, выгорело, прошло.
Скоро уже дожди станут сырой порошей.
Может, в штрихах её я промелькну ещё –
даром ли по кольцу ходит вагон продрогший,
вечный круг замыкая,
снежный срезая слой.

Так и пройдёт зима – в технике акватинты,
тронув снегов пластины
холода злой иглой
и кислотой тоски вытравлена на цинке.

Пусть в ней сквозят давно стёртые имена.
Пусть проступает в ней
тень, чьи шаги неловки,
пусть она шепчет тьме: «Не забывай меня» –
под фонарём пустой, стоптанной остановки.

МЫ ЗЛО ПРОТИВИЛИСЬ СУДЬБЕ...

Мы зло противились судьбе.
Она нас намертво вязала.
Простились.
Я увез в купе
дрожь выстуженного вокзала.
Пошли предместья.
Их дымы
лепились в странные фигуры –
и это тоже были мы:
друг другу впившиеся в губы,
мы были соединены,
как в гуле слившиеся звуки,
и, словно ветви сплетены,
во мгле мелькали наши руки,
и всюду, всюду

из углов
вставали тени наважденья,
еще печальней, чем любовь,
еще темней, чем вождельень.
Как раскаленные тиски,
сжималось,
прожигая платье,
кольцо невысказанной тоски
в почти звериное объятье.
Граница между «я» и «ты»,
натянута слишком туго,
вдруг лопнула...
Две пустоты
пытались высосать друг друга.

ПРОЙДИ, МОЯ ЛЮБОВЬ...

Пройди, моя любовь.
Бессмертной быть жестоко.
Умолкни, жизнь моя.
Угомонись в груди
не ранее судьбой назначенного срока,
как можно дольше длись.
Но всё-таки
пройди.

Тогда и подобью
итоги сладкой мести,
чтобы сказать в конце,
уже не сгоряча:
ты мучила меня –
за это сгинем вместе.
Я отслужил тебе,
как пламени свеча.

ТАМАРА

Там не было Арагвы и Куры,
ни башни, что наверху скалы
над полем сладких лоз,
как страж, стояла.

Но там – внизу – светился гастроном,
лозы агент во времени ином,
которому и этого не мало.

И там однажды демон пролетел,
где лишь многоэтажки да метель,
где высоко зажгла окно Тамара.

Он только на балконе покурил –
Тамаре мнился мрак, и посвист крыл,
и ужас перед прорвою пространства,
которое – случайно и напрасно –
он лишь на миг пред нею приоткрыл.
Как прежде, без руля и без ветрил
планеты плыли. И была огромна
над улицей и гвалтом гастронома
Вселенной ночь, в которой свет парил.

В ней звезды, точно капельки тумана,
теснились, оседая на стекле,
но жизнь проистекала на земле,
где чашки остывали на столе.
И отвернулась от окна Тамара.

Спокойна и мудра не по летам,
жила она размеренно и строго,
уютно, как за пазухой у Бога.
Но демон больше к ней не прилетал.



ГВАРДИЯ

Не хандри, товарищ мой усталый.
В деле жарком ты ещё хорош.
Гвардия обязана быть старой.
А иначе – и цена ей грош.

Потому – ни трусов, ни отребий
В тех полях, где над костями – вран,
где по праву первым тянет жребий
перед новобранцем – ветеран.

Ус наш сед, и наши сны старинны –
фейерверки вспарывают тьму,
озаряя век Екатерины,
взлётов и падений кутерьму.

Словно сроков жизнь достигла, в коих,
как гвардейцы времени того,
возле государыни покоев
ждём, судьба, каприза твоего,

как сама чего-то ждешь от нас ты –
и, когда наив надежд забыт,
может быть, в счастливый день, однажды...
впрочем, так же может и не быть.

Жизнь грустна – но унывать не смейте,
стройте замки планов на песке,
не сдаваясь старости. И смерти.
И её лазутчице – тоске.

МЯВ

За свои ответит косяки
жмот-февраль, темнила и проныра.
Трубадуры марта, кошки,
сходятся на крыше для турнира.

Каждый как умеет – всё о том,
что любовь и битва грянут вскоре,
все об этом... Будь и я котом,
был бы мяв мой не последним в хоре.

Может, для побед я был бы стар
и пушист не слишком, но при этом,
оседлав забор, как пьедестал,
дранный хвост держал бы пистолетом.

Чуть запахнет дракой, тут как тут
был бы я во всем облезлом блеске –
и пускай герои обретут
кисок и колбасные обрезки!

Вот о чём я пел бы в простоте –
лишь порой, оставив песни эти,
я умел бы видеть в темноте
всё, чего не может быть на свете.

НАД БОЛЬШОЙ ПОКРОВСКОЙ ДОЖДЬ ПОВИС...

Над Большой Покровской дождь повис.
Небо разбухает, намокает.
Низко опустившаяся высь,
что трамвай, искрит и громыхает.

Вдоль бордюра мчит бумажный чёлн –
повезло тоскующей газете.
Улица воистину течёт
под уклон –
как жизнь, как всё на свете.

Капель шквал с неё смывает пыль.
И сверкают самоцветы окон,
даром что купеческий ампир,
точно голубь вымокший, нахохлен.

Так, меж бликов блёсткого стекла,
медленно клонясь от Главной почты,
улица Покровская текла
до меня – продолжит бег и после.

И во льды эпох, как мезозой,
вмёрзнут навсегда в грядущих стужах
тени танцевавших под грозой,
юных, бьющих степ в июньских лужах.

Но пока июнь при нас, друзья.
Без чечётки – впрочем, шагом чётким
сквозь него ещё иду и я
в такт дождю. И нет зонта. И чёрт с ним.

Я

В нас – и вне нас – наступает красивая ночь.
В ней непонятно, но мощно, как суры Корана,
певчая птаха, не ведая отроду нот,
музыку свищет, домой воротясь из Ирана.

Мы же с тобой на рассвете гнезда не совьём,
видим друг друга во сне – и становимся снами.
В отблесках света остались на свете вдвоём,
Бог говорит через нас, но отныне – не с нами.

Не без досады, но страха в душе не тая,
тьме уступаю, как поздний костёр, догорая.
Только бы ты на свете оставалась, а я...
я – это трудный вопрос, извини, дорогая.

Знать не дано, на каком из путей бытия
переступлю, ни минуты не тратя на сборы,
грань, за которою местоимение «я»,
имя теряя, становится возгласом боли –
и ничего от меня не останется в нём,
как никакого меня и не мнилось в начале.

Я – это то, что ночами поёт за окном,
плача от радости, млея в счастливой печали,
вдруг понимая коротким умом соловья,
трелью слова безоглядно бросая на ветер,
что я не главное в мире – а главного я
ни на чужбине, ни в отчине
так и не встретил.

СИРЕНЬ

Ставя цель рулям и парусам,
вычисляя все пути на свете,
юных не учу, поскольку сам
пил росу сиреневых соцветий.

После – познавай и понимай,
глубже Канта будь, Сенеки строже.
Но, пока безумный месяц май
не сгорел – ты в нём безумен тоже.

Что накуролесил – всё твоё,
заживёт, пройдёт – и станет мило,
как любви калёное тавро,
что меня, жеребчика, клеймило.

В кутерьме страстей, гулянок, драк
обожал, витийствуя, приврать я –
и при этом был такой дурак! –
просто за пределом вероятья.

Знать бы прежде, что там впереди,
в бездну эту заглянуть бы прежде...
Господи, прости – и снизойди
к молодости, глупости, надежде.



ПОЛНОЛУНИЕ

Свет одинокий у темноты в плену –
это, печаль белым вином залив,
Лорка небесный включает Луну, Луну
над благодатной листвою своих олив.
И – далеко от цикадовой песни роцц,
тотчас разбужен огромным сияньем сна,
некто дрожащий вперяется в эту ночь,
шепчет окну:

– Это просто Луна... Луна.

Но, как ни ярсья в небе, ни жги-слепи,
есть и её волхованию свой предел.
Мыслим ли сон о столь яркой любви.
Любви,
коей не встретил.
Не выстрадал. Проглядел.
Как сотрясает она сердца! Её имя – дрожь.
Как её смех над смертью высок и чист!
Как её свет заливают потёмки – сплошь,
сколь безразличны ей умные смыслы числ...

Всё же – очнись.
Озарённость со лба сотри,
смой этот морок талой водой зари.
Вот уже мир проявился в растворе утра.
Мало ли где и кому разливают свет.
Брейся и жарь омлет.
Доживай свой век
мерно, опрятно, уютно – хотя и утло.
Если же снова накатит невроз весной,
тайну припомни, нашептанную Луной,
так беспощадно сорвавшей тебя с постели –
с ней ты бессмертен на целую прорву лет.
А без неё – ничего в этом мире нет,
что бы смогло обрести ипостась потери.

НА БЕРЕГУ

Дремлющая листва, лютики на лугу.
Берега полоса, согнутая в дугу.
Странно узнать себя, в парке кормящим белок,
замёршим на бегу –
словно на берегу
zybко, как моряку, списанному на берег.

Гревшиеся костром,
падавшие в Мальстрём –
время вернуться в дом – в Гавре или Джакарте.
Знали орудий гром,
пили яванский ром –
время оставить шифр на самодельной карте.

Всё, чем дышал пока,
минется, но запомнится.
Всем, что тебя влекло, хмелем надежд питало,
пусть – за строкой строка –
жизнь до конца заполнится,
как судовой журнал старого капитана.

Палуба быта, выдраенная дочиста.
Свежий воротничок. Выверенное слово.
Горький одеколон строгого одиночества.
Книга, табак и чай.
И полглотка спиртного.

ГЕНУЭЗСКАЯ БАШНЯ

1

Невероятно!
Чёртова беспредельность,
кто тебя осознает,
синюю прорву, полную бархатным светом?

2

Ляжем на теплую землю,
в ночную траву.
Слышишь? –
там, высоко, среди звезд
цикады живут.

3

Что?
Если умрем? Если исчезнем?
Невероятно!
Что же заполнит тогда
дольки пространства,
отведенные нашим телам?

4

Здесь нас никто не увидит.
Не стыдись ящериц,
спящих в камнях –
нет существ молчаливей.
Отпусти на свободу
руки, волосы, губы.
Пусть сами решат свою участь.

5

Некогда грозная башня –
руина над морем.
Сколько мышиных зубов времени
о нее сточилось!
Что ей крохотные часы наших свиданий?..

6

Кинем в эту траву наши раздумья,
наши сомненья.
Помнишь –
даже змея сбросила здесь
отслужившую свою кожу.
Станем как змеи.

7

– Тише! –
синяя беспредельность
в нас норovit ворваться.
Осторожней вдыхай
этот огромный воздух.

8

– Любимый,
ничего не бойся.
– Но ведь мы же падаем в бездну,
ничто нас уже не удержит,
родившихся однажды!
– Любимый,
ничего не бойся.

9

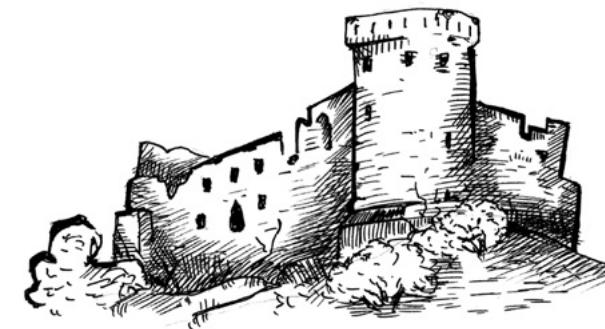
Любовь моя, ты проходишь,
жизнь моя, ты проходишь,
ты меня покидаешь,
отслужившую свою кожу!..

10

И лишь на рассвете бледном
оглядываюсь и вижу,
что, в сущности, всё просто –
травы, камни, крепость...
На глазах обмелело небо.
Сам смеюсь своим бредням.

11

Невероятно!.....



Творческий тандем
Васильев/Чурдалёв:
музыкально –
поэтические
композиции.
[youtu.be/
DfglxPiv7II](https://youtu.be/DfglxPiv7II)

ХИМЕРА

Ламберт Ван Хорн –
из мореходов лучших.
И парусник его весьма неплох –
торговый флейт, несущий двадцать пушек,
как прибыльной негодии залог.
Распарывая зыбь форштевнем острым,
вздымает паруса свои в зенит.
Химера, украшающая роострум,
в туманы пялит бельма без зениц.
Дубовые во тьму топырит груди,
облезшей позолоты не стыдясь.
Она не спит,
не бодрствует, как люди, –
но уклониться от судьбы не даст.



Ван Хорн,
квадрантом пользуясь умело,
по маякам светил ровняет борт.
Но флейт идёт, куда глядит химера,
и ни на градус не наоборот.
Там, впереди,
для каждого, кто дожил,
оставив гавань планов и надежд,
уже готовит кок Весёлый Роджер
шторма, пиастры, оспу и мятеж,
упокоенье в океанской глубине.
Во имя вероломства и вражды
там жертвенною кровью мажут губы
химеры
людоедские вожди.

Заманивая к рифам галеоны,
откуда не славировать назад,
Ван Хорн опять уходит от погони,
столь круто к ветру, что его не взять.
Теперь – с командой выпить рому, что ли,
искусно обогнув опасный мыс,
за то, что мы своей не знаем доли,
а значит, жизнь пока имеет смысл.

ВАРИАЦИЯ

Что там белеет? говори.

А. Пушкин, «Сцена из Фауста»

– Ведь велено тебе – всё утопить!
Но, видно, чёрт вконец лишился хватки,
и я смотрю, как продолжает плыть
всё та же шваль, влача со златом кадки,
жратву для сытых. Шоу для тупых –
кривляющихся обезьян облезлых.
Зловонный трюм в гноящихся болезнях –
а язвы всё гнусней, всё больше их.

Попутным ветром паруса полны,
всегда попутным – влево ль надо, вправо –
в пути до Роттердама из Бильбао
и далее – куда ни поверни.

Ну что, продюсер мелких проказ,
как видно в Преисподней те же беды?
Столь обветшали адские торпеды,
что ты не в силах выполнить приказ?
С тобой, похоже, дел вести не стоит –
легко слетел с тебя сусальный блеск.
– Да я пытался... но оно не тонет –
слегка смущаясь, отвечает бес.

Примолкли оба – и опять скучают.
На море тишь. Над морем – плачи чаек.

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОСТЬ И ВЕРОЯТНОСТЬ...

Приблизительность и вероятность
ночью сходятся, тайны деля.
Но рассвет абсолютную ясность
вносит в тёмные эти дела,
словно неименуемый Кто-то,
синюю на поле павший вечер,
травы, сроду не знавшие счёта,
до былинки к утру перечёл.

Может быть, Его главная тайна,
в том, что ни на одной из планет
среди всех мелочей мирозданья
лишних и одинаковых нет.
Ни штриха невпопад, не по цели,
всё до пыли – не даром, не зря
в этом мире, где можно потери
пережить, но восполнить нельзя.

СРЕДИ РАЗНЫХ – ПО МАССЕ И ЯРКОСТИ...

Среди разных – по массе и яркости,
коим имя Вселенская Тьма,
за пределом любой вероятности,
постигаемой светом ума,
в этой крохотной тёплой обители
меж снежинок в межзвёздном снегу
был и я –
подтвердите, кто видели.
Сам уже доказать не смогу.

В ЛЮБВИ

Обменяли билеты,
остались у моря, у мира,
где любовь нас, как птах перелётных
с ладони кормила.
И гори всё огнём
до конца этой райской недели –
а в пределе ином
мы успеем напиться метели.

Остаёмся –
и я и она –
на любительском фото.
Нас качала волна
в колыбели военного флота.
Мы плескались в любви,
я безумствовал и куролесил.
Это лето вдали
растворилось, как дымчатый крейсер
и оставило нас
среди брызг и счастливого вздора.

Ты – в который-то раз –
сможешь снова добраться до моря,
окунишь и плыви...
Но себя не обманывать если –
мы остались в любви.
За чертою её мы исчезли.

ЭЛЬДЖБЕТА

Я не давал тебе пред алтарём обета –
спишем на разность
вероисповеданий это.
Сидя молиться – у нас дурная примета.

Каждый знает лишь со своей правдой,
а я из страны, где либо стой,
либо падай.
Вряд ли ты ещё помнишь меня, Эльджбета.

Девочка щебета,
вещий щегол лета –
музыку мягких щелчков и шипящих пела.
Трогала за нос бронзового Шопена.
Вряд ли ты ещё помнишь меня, Эльджбета,
в дебрях Варшавы, в путах её пространства.

В ломких проулках,
путавших право-лево,
спесью готической заражено славянство
было, но понемногу переболело.

Я разворачивал алхимический свиток –
улицу хиппи, туристов, иезуиток,
где ты подпевала уличному оркестру –
и Levi's не шли в ущерб
твоему шляхетству.

А пан был ласков –
точно как ты велела.
Пан добирался до Виленской без билета
на электричке. Помнишь ли ты, Эльджбета,
мост, с которого сыпались поцелуи
и уплывали прочь, становясь Вислой?

...как это лето
было тебе к лицу – и
всё это кануло.
Говорок твой быстрый
ветром смело с поручней парапета.

Воспоминание –
только игра света
с ветром, который вовек не даёт ответа,
куда отлетает всё, что ставили на кон,
на парусах сна,
на крахмальных крыльях монахинь.
Мне оставляя лишь выдох этот –
Эльджбета.

НЕВЕСТА, ДРУГ, ЖЕНА, ОПЯТЬ НЕВЕСТА...

Невеста, друг, жена, опять невеста,
она спала, как мышь в моей руке.
В окне вставал девятый вал рассвета.
В огне вставал.
В двухкомнатном мирке
еще неясно озарились вещи,
убранство лакированных палат –
уютя полированные плечи:
стеклопосуда, мебель, шваль, безделки.
И блик пожара вспыхнул на тарелке,
меж двух окурков, всаженных в салат.

Я высвободил руку для начала.
– Любовь моя... – моя любовь молчала.
И я покинул этот жаркий ком,
чтобы размять затекший за ночь локоть
и вновь обнять ее. Но одиночество
тотчас прошлась по коже холодком
и выманила из-под одеяла.
Семья распалась. Половина встала,
другая – предпочла лежать ничком.

Я по полу зашлепал босиком,
не зажигая света – ведь светало –
и смысл под душем бестолковый сон.
Опять приснились старики и дети
бесплотные... каких-то духов сонм –
те умерли и не родились эти.

И я очнулся – словно перст на свете,
в пылающую глядя пустоту,
в сатиновых трусах, на кухне волглой,
с потухшей беломориной во рту.

А жизнь еще, возможно, будет долгой.



ДОРОГАЯ, ПРОСТИ МЕРЗАВЦА...

Дорогая, прости мерзавца
за нечаянное убийство
времени –
мне не хотелось завтра,
мне хотелось сейчас, быстро.

Я любил, чтобы было скоро –
и повсюду ловил скорость,
заливая бак до упора
и газуя под Rolling Stones.
Я в окошко швырял окурки,
брал вираж на кривой дорожке.

И, хотя они как бы тёзки,
если молнии шли по куртке –
не подумайте, что застёжки!

Мельтешили мои кроссовки
на педалях побитых тачек.
Укоряли меня красотки:
– Ах, какой торопливый мальчик!

Думал, тень свою догоняя,
как ещё наподдать немного.

Ты простишь меня, дорогая,
там, где кончится вдруг дорога,
где замечу я, увядая:
вроде только что начал бриться,
а щетина уже седая...

Всё и впрямь получилось быстро.

НА ЛОДОЧКЕ

Когда-то мы плавали с другом на лодочке.
И брали с собою немножечко водочки.
Консервов на сутки – и вся недолга.

И ленту крутили свою берега.
Большое кино – про июль и свободу,
привольную землю и быструю воду,
про всё, что в пути отразила вода,
про лето, где мы не умрём никогда,
не ляжем под вьюги, как палые листья,
а всё будем плыть, и смеяться, и длиться,
как эта река без конца и начала,
без дамбы, затона, плотины, причала,
зигзагом разрезавшая захолустье,
не помнящая ни истока, ни устья,
без имени и направленья река,
петляющая, точно жизнь дурака.
И некуда деться из этих излук...

Давай же в том лете, в том времени, друг,
палатку поставим – и граммов по триста
накатим под «Michelle», под «Завтрак туриста» –
за годы, которым пройти суждено,
в которых костры не горят на привалах,
и жернов столетия сырых и малых
стирает в песок – и не пьётся вино.
В которых закончилась наша страна
и рухнула дружба, надёжная вроде,
и сгнула лодка в каком-то походе,
пробитая острыми зубьями дна.
В которых мы жили, спрямляя стези,
страхуясь от мора, и глада, и сглаза,
и на автострадах, пробитых в грязи,
топили педали послушного газа.

А мимо – всё мимо и мимо – пока
не скроется с глаз прихотливым изгибом,
всё та же текла и петляла река
на радость лягушкам, кувшинкам и рыбам.
Сбегала – по ягоды и по грибы,
слонялась по рощам, полям и болотам
родимой земли, ни одним поворотом
не жертвуя умному плану судьбы.

ДЕВАЙС

Вроде в меру – пашем,
в меру – косим,
а никак не сложится уют.

Жил бы я у озера меж сосен.
Да грехи былые не дают.

Знал бы фраер прикуп –
жил бы в Сочи...
Но не так с раскладом повезло.

Всё воплю в мобильник среди ночи
в пустоту летящее «алло».

Мне эфира шорохи, бессонны,
отвечают шёпотами:
– Брось.
Дай отбой.

Давно уже вне зоны
доступа всё то, что не сбылось.

Я ещё кручусь, куда деваться –
до свистка не кончена игра.

Но в моих продвинутых девайсах
древние забиты номера.
Каждый вызывается при этом
легким мановением руки...

И горят они красивым светом.
И по ним – гудки.
Гудки. Гудки.

УСПЕТЬ

Молчание признаньем и обетом
служило мне –
ему я слово дал,
но так хотел тебе сказать об этом...

Прости, что я едва не опоздал,
безмолвствуя среди речёвок бодрых,
обложек, разрисованных пестро.

А строчки – на салфетках и обёртках –
терялись на вокзалах и в бистро.

Но я спешил к тебе – из лет, в которых,
подлея и мельчая с каждым днём,
мир гнил во лжи, мелькая в мониторах
побоищами, торжищами...

В нём
нелепо было числиться поэтом.
Я так решил: ещё успею спеть.
Сначала – жить,
потом вещать об этом.
И вот – успел.
А мог и не успеть.

ПРОХЛАДНЫЕ ПЕСЕНКИ

1

Покажет нам зима
из серебра клыки,
пока же, как зола,
горяч осадок летний.
И яхты сентября,
востря свои клинки,
срезают слой тепла
над волнами – последний.
Изящен, как балет,
резной листвы полет –
последний. И вослед –
закат, пока не бледный,
искрится и плывет,
как музыка, плывет,
а с ним – речной трамвай
любви безбилетной.

Проплыл – и был таков.
И машут с берегов
ещё вдогон ему
блистательные кроны.
А даль уже в дыму
вечернем – и во тьму
вот-вот совсем уйдут
тускнеющие клёны.
Но не печался зря,
очертят круг ветра,
и яхты сентября
их повстречают снова.
Поэтому и мы
не убоимся тьмы,
«прощай» не говоря –
бессмысленное слово.

2

Лето плакало? Да плюнь –
жаль, но не настолько.
Плюмбум капель плюм да плюм
в дрогнувшие стёкла.
Рухни ниц, сочти овец,
падая при этом
в сон, похожий на свинец
плотностью и цветом.
Где-то очень далеко
тяжко ухнет ветер
А кому сейчас легко? –
туши туч ответят.

Я и сам к земле прибит
мокрою порошей,
приземлённым сном про быт,
вязкий, нехороший,
нудный, как дебилов чат
да смартфонов трели.
В нём копыта не стучат
и не свищут стрелы.
Ни погони по пятам
в нём, ни чёрной метки.
Белый кит и капитан
в нём не ищут мести.

В эти бредни до утра
звать подругу глупо.
Улетай, ланфрен-ланфра,
прочь, моя голубка.
А едва придет весна –
в новый сон под ливень
возвратись будить меня
юным и счастливым.

3

Обратись к зиме – к её убору,
пафосному, пышному, как торт.
Пир земли накрыт не пред тобою.
Но и ты пред ним не распростёрт.

Ты не сдал на Цезаря. Но надо
сохранить души морозный блеск
в белых колоннадах снегопада,
вертикально павшего с небес.

Стужа прилетит, как вихрь, крылата,
упаду и голову склоню:
так тростинка мыслила когда-то.
Но застыла, стоя на корню.

Так и должно – холодно и стойко.
Пообочь зализанной лыжни.
Краски меркнут. Остается только
тонкий штрих на фоне белизны.

Меж страниц с гербарием закладок,
в чётких строчках – сквозь отвесный снег,
в белых колоннадах, колоннадах
городов, которых больше нет.

НОЧЬЮ

1

Непрогляден мир, рассвет не скоро.
Я шепчу, склоняя в тень чело:
– Ангел мой, летим в края покоя,
здесь уже не светит ничего.

Он крылами лёгкими полощет,
осеняя мрачные поля,
говорит:
– Бреди пока на ощупь.
Я вернусь, когда придет пора.

2

Справа светел золотистый свод.
Слева наплывает ночь большая.
Перед нею облако плывет,
розовые перья распушая.

Снова улетает без меня
в край, где я вовек уже не буду,
слёзы рассыпать, как семена
сумерек, возрастающих повсюду.

3

Прогорел в потемках жизни зряшной,
точно костерок, утратил пыл.
Только ветер, темный, но прозрачный,
в небо взмёл мерцающую пыль.

В черноте ей путь нездешний соткан –
и над перстью тусклою земной
тот же свет, не яркий, но высокий,
тлеет над дорогою домой.

КУПЛЕТЫ ФАУСТА

Я душою слаб и грешен.
Сгинет в яме земляной
Маргарита, Грета, Гретхен –
жизнь, загубленная мной.
Пентаграмма в тайных метках
разверзает свой портал.
Пребывает не из мелких
бес – и ходит по пятам.
Похотливый, алчный, потный,
скользкий, точно суета
всей паскудной преисподней,
для которой мы – врата.
Я не сетую, не ною,
ад и сам попал в впросак.
Пропаду, и черт со мною –
понимайте так и сяк.
Но не всё столь однобоко,
плоско, просто, напрямик.
Ровно столько и от Бога
исчезает в этот миг.
Даже будь стократно злее
зло, а все же меж людьми,
слава Богу, зеленеет,
Древо жизни, черт возьми!
До поры не говорите
ей о том, что после ждет,
передайте Маргарите,
что уже бреду сквозь дождь
к ней – сквозь рынок придорожный,
сквозь его кликуш враньё –
и в руке моей продрогшей
мокнет роза для неё.



ЖИЗНЬ СПАЛА В СНЕГУ, КАК В НАФТАЛИНЕ

Жизнь спала в снегу, как в нафталине,
но лукавый норв не зачах.
Девочки уже надели мини
и дрожат в распахнутых плащах.

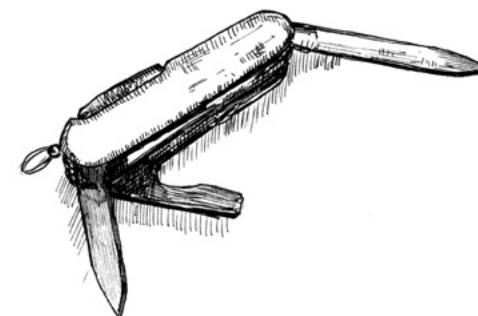
Это время сладких слёз, ошибок,
свойственных что детям, что отцам.
Мир апрельский не уверен, зыбок
и дерзит, робея, как пацан.

В небесах то солнечно, то мокро.
Но ушла зимы угрюмой тьма.
Женщины на Пасху моют окна,
Чтоб Господь мог заглянуть в дома.

АЛЛЕЯ

Сгустился в капли пар
небесный.
На аллею
промокший август пал
под тяжестью своею.
Как листья, имена
под ветром лягут наземь.
При мне и без меня
пребудет свет прекрасен –
и не бывал иным.
Прости мне, Боже правый,
что сам я связан с ним
не больше чем забавой.

Ватага корешей,
вам завещаю я
за все, что довелось,
за то, что славно спелись,
коллекцию ножей,
да личный склад шмотья
в пайетках дамских слёз –
чем не уездный Элвис?



А больше – ничего.
Без диспута и торга.
Остатнее тепло
сквозь облачную хмарь
причтется вам и так,
но в это вклад мой мал –
не более чем гул, риторика –
и только.
При мне слова одни.
Да листья, да аллея,
бегущая в тени,
в конце слегка светлея.

Уже на кронах древ
торжественные митры.
Вечерни срок настал.
Стихает плеск молвы
о том, что мор и глад
владевают в мире –
он посвящён, как встарь,
надежде и любви.

БОЛЬНИЧНОЕ

Пятая хирургическая больница,
снимаясь с фундамента в полночь,
пролетает надо всем, что снится,
надо всем, что любишь и помнишь.
Над бетоном, чащей, пашней,
к минувшему путь держа,
над землёй, беспокойно спящей
под капельницами дождя.

Рвутся в тихом полете
тенёта земных забот.
Тем легче некто в палате
к рассвету покинет борт,
сойдя не в провалы Данта,
а просто оставшись там,
где был он молод когда-то
и дерзок не по летам,
у малых своих истоков,
где нет ни обид, ни зла,
ни плоской черты итогов
с остатком: всё было зря.

Безденежье. Пляж. Безделье.
Скитания. Автостоп.
И жизнь – ещё беспредельна –
простёрта у самых стоп.

LET IT BE

Как это было?
Я забываю.
Кажется, травы вставали до неба,
что-то шептала девочка рядом.
Мчались друзья на подножке трамвая,
юностью сладкой переболевая.
Всё было летом. И всё было садом.

Были свиданья на кладбище старом –
и паучок нас смешил на могиле,
ибо как боги бессмертны мы были.

Лет не считали, дни торопили.
Месяцы наши, наши недели,
в пропасть срывались, как автомобили,
и, разбиваясь, красиво горели!

Если же дома сидел ненароком,
только и ждал, чтобы в дверь позвонили.
Помню – срываюсь, лечу, открываю...

Кто ты,
промокшая, там, за порогом?
Чтоб не завывать от тоски – забываю.

Дверь забываю.
За дверью забитой
дребезги чьей-то мальчишеской жизни.
Длинные локоны. Дранные джинсы.
Грустный мотивчик битловский,
забытый.

Как ты мелодию эту любила!
Если бы лёгкие снова наполнить
песенкой прежней про то, как всё было...
Но невозможно всё было запомнить.

Творческий тандем
Васильев/Чурдалёв:
музыкально –
поэтические
композиции.
[youtu.be/
8BMfBn0leo](https://youtu.be/8BMfBn0leo)



КАЙ

Снег не умеет стучать по стеклам и крышам,
и потому он внезапен, вкрадчив, неслышен.
Вдруг просыпаешься – жизнь, точно мел бела,
пишет по аспидной осени, что была
сладкой, душистой, как наливной ранет,
росной, купавной.

Но доказательств нет.

Мир индевет в саване белизны
вместе с надеждой очнуться однажды, будто
VIP-мертвецы в криокапсулах ждут побудки,
в дивном грядущем, которому не нужны.

Если бы Герда не спасла Кая,
может, его ждала бы судьба такая:
окоченеть торосов седых среди.
До скончания времён, навсегда, навеки,
в бликах спящих, но уже не на свете –
неповзрослевший старец со льдом в груди.
Вроде строки, бегущей направо слева
до бесконечности,
хоть весь лёд искроши,
всё-то слагает из блёстких кристаллов слово,
гулкое, не греющее души.

Но не постичь в неге, тепле и лени,
что и мороз жжётся, как кипяток,
там, где сентиментальны разбойники
и быстры олени,
там, где тропа – лыжня, а река – каток.
Жарко в пути, ведущем вечерней тенью
мимо хрустальных елей и волчьих стай,
мимо зимы, нахлёстывающей метелью.
Не опоздай Герда. Не опоздай.



ВСЁ ПОКРЫВАЕТ ВРЕМЯ...

Всё покрывает время как трава.
Над ней листвою шелестят слова
молитвы, либо лепет просторечья.
И только с ними я бреду к Вратам.
А жизнь твоя продлится где-то там,
куда моей уже не простереться.

Но грани нет меж быть или не быть –
вино допито и бокал разбит,
однако опьянение остается.
Пусть смолкли струны и бледнеет ночь,
в сон упавая, не перечеркнешь
слова однажды сказанного тоста.

Когда простынет лет истлевших зной,
две осени останутся со мной.
Но нечего подсчитывать – мы квиты.
Прощай теперь. Спасибо, что была –
как миг полёта тонкого стекла
в падении на каменные плиты.

МИСТЕРИЯ

Прости меня.
Моя вина – огромна.
Вселенную неловкими руками
я вылепил. С апломбом божества
дал имена непознанным предметам
и тварей бессловесных нарекал
без колебаний – как на ум взбрело.

Я прах смешал в неопытных ладонях,
не ведая, куда впадают реки,
зачем гора не сходится с горою,
когда вернётся на круги свои
витающий по ясным высям ветер.
Но я любил.
И судорога любви
сводила пальцы мне – и твердь крошилась
на икры беспорядочных созвездий,
на пыль планет, на атомы веществ.
Кипели камни.
Кремний с кислородом
неистово сцепились... Я любил –
пожар творенья ослеплял мой разум.
На берег выползали из глубин
кошмарные химеры бытия,
чешуйчатые предки совершенства,
задуманного мной...

И наконец
еще горячий ком,
безмерный и лишённый смысла хаос,
я протянул тебе. Но я любил –
и все кругом безумью покорялось!
Охваченная пламенем моим,
ты вспыхнула в ответ и прошептала:
– Твой мир прекрасен, вечен и любим...
Ты верила. Ты в облаках витала.

Но жил во мне мой ледяной двойник.
Он знал, что я – не Бог непогрешимый.
Он знал: остынь любовь моя на миг –
гармония окажется фальшивой.
И я взгляну глазами мертвеца
на шар земли, поросший жизни тиной,
не отличив возлюбленной лица
от мерзкого обличия рептилий.
Рассудок, шестернями скрежеща,
обмерит черепа мадонн и монстров,
и, утолив познания зуд, уснёт,
как циркуль в бархатистой готовальне,
замкнувший идеально точный круг,
в котором мы с тобой навеки сгинем...

Любимая,
не разнимай же рук,
сведенных за плечами дорогими,
любимая, не размыкай же век,
но верь сквозь них – в мой лес, в мой вечер
синий,
в мой жаркий мир, где жив мой человек –
немыслимый, неправильный, красивый!

...Быть может надо было всё разбить
на строгие квадраты или ромбы...

Прости меня.
Вина моя – огромна.
Но невозможно было не любить.



Творческий тандем
Васильев/Чурдалёв:
музыкально –
поэтические
композиции.
[youtu.be/_
a2iBm1mo1ac](https://youtu.be/_a2iBm1mo1ac)

КОНЕЦ ЯНВАРЯ

Высокий воздух почернел,
но бел был мир под ним.
Колючий месяц коченел,
напялив бледный нимб.
Я вышел из дому в январь,
и смёрзся с январём,
и наледь превратил в янтарь
старинным фонарём,
я сам себе метелью был
и чьей-то тенью в ней –
и вьюгой певчей отбелил
всю тьму минувших дней.

Трещал январь, железо рвал,
но сдался, утомлён –
зимы суровый перевал
им был преодолён.
Нелепо ярим быть и злым,
следуя, как по часам
твой снег становится былым,
и стужа – и ты сам.
Не потому, что оплошал,
но честно отбыл срок,
и время прошептать
– Прощай
кому-то между строк.



ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ

Слава ли, злато ли, почести ли – улов,
коим кичиться станешь ты на пирах?
Всё, что нам нужно –
это только любовь.

Прочее –
марево, разума сон, прах.

Мальчик, танцует с девочкой под битлов,
не понимал, насколько он глуп и слеп,
искренне думал,
что только любовь, любовь...

Но поумнел,
забыв об этом на уйму лет.

Он произнес много прекрасных слов,
ловко связав их в мелкую жизни сеть.
Но, отыскав прореху, ушла любовь,
только любовь, оставляя прах.

Теперь он сед.
Шляясь по улочкам, между церковных глав
в золоте –
и новоделов под ар-нуво,
дедушка странный бормочет:
All you need is love.
Бабушки смотрят сочувственно на него.

КОВЧЕГ

Есть слух, что усердье наше пришлось не к сроку.
Всё было как надо – жар труда и мудрость книг.
Но река пересохла, пока мы строили лодку.
Пока шили парус – ветер сник.
Обнажилось дно: ил, грязь, обломки
былых лет – сломит ногу чёрт!
И, посредине русла наша лодка,
вся – тонкий дизайн и точный расчет.
Драим медь, борта красим белым.
Зеваки покручивают пальцами у виска.
Они не строят лодок. Им, бедным,
весело думать, что засуха – на века.
Дно делят под огороды и дачи.
Обстраиваются, кто приворовывая, кто в долг.

Но капитан понимает жизнь иначе.
– Здесь, – говорит, – временный сухой док.
– Мы, – говорит, – с вами ещё помокнем,
нужно успеть с такелажем, пока сушь да тишь.

И обводит гребни дач бессонным биноклем,
чтобы точнее пройти потом над рифами крыш.

НА ЗЕМЛЕ ВЕКА СУЕТА СУЕТ..

На земле века – суета сует.
Над землёй века – пустота пустот,
через облака – несмутимый свет
усмехающихся, ледяных высот.
То лукавство звёзд, то намёк зарниц.
Надоело!
Вот как размахнусь сплеча –
в усмехающийся надо мной зенит
запущу половинкою кирпича.
Недовольна, высь? Отомсти же мне!
Что ж огня с небес не видать?
Всё-то тёплый дождь, всё-то тихий снег –
нисходящая благодать...
Ничего,
сколько надо, я подожду.
Час придёт – пируй вороньё! –
я с проломленным черепом упаду,
докричавшись, вернув своё.

ГЕНИЙ

Опять соблазны разметала полночь –
и, как паук, дежурит у сетей.
Куда ты, бедный помысел?
Опомнись!
Смешны твои догадки высоте.

Слаб гений мой.
Десятками болезней
истощена судьба его была.
Но всё же гений он. И перед бездной
топорщит худосочные крыла.

ЧУДО

Никак не случается чуда.
День меркнет от скуки к шести.
И жизнь, как рассказчик-зануда,
не в силах до сути дойти.

Соседи, как водится, в сваре.
Бранит кочегара домком.
Придурок, живущий в подвале,
грохочет весь день молотком.
Всю зиму – по кругу – соседи,
домком и алкаш-кочегар...

Чудес не бывает на свете.
Я даром тетрадь исчеркал.
А если когда и бывали –
издержаны по мелочам.
Бывает лишь скрежет в подвале –
как будто пилой – по ночам.
Бывает запой и простуда.
И нету иных новостей.

...И вдруг приключается чудо,
цветное, как счастье детей.
Кончаются сплетни и споры,
скисают зародыши драк.
И чудо парит без опоры,
а может быть, кажется так.

Все крыши усыпаны людом,
все лбы запрокинуты вверх.
Отныне оправданы чудом
соседские жизни навек.
А те, кто его прозевали,
канючат потом: «Расскажи...»

И только придурок в подвале
хохочет – и жжет чертежи.

МИФ

Средь античного хлама
электрический ритм.
Полыхает реклама:
«ЛАБИРИНТ! ЛАБИРИНТ!»

У замшелого входа
туристический лоск.
Сигареты. Крем-сода.
Касса. Урна. Киоск.

Там, присев под пилоном,
ухмыляясь хитро,
мальчик с красным дипломом
потребляет ситро.

Взгляд острее, чем бритва.
Ясный холод ума.
Алгоритм лабиринта
примитивен весьма.

У Дедала в прорабке
пыль веков – до колен.
В обвалившейся арке
скука, плесень и тлен.

И, вконец одряхлевший,
заливая печаль,
Минотавр, здешний леший,
вымогает на чай.

Но, к подачкам не склонен –
простота не по нём –
мальчик с красным дипломом
входит в чёрный проём.

Он ещё обернётся
на прощанье, игрив...
Он назад не вернется.
Так кончается миф.

ЭТЮД

Обломки плит, античные погосты,
и колокол, лишённый языка,
и базилики мраморные кости,
обглоданные солнцем за века.

А дальше всё – огонь и синева.
Ослепший взгляд угадывал не вскоре,
что там, должно быть, начиналось море,
сквозь блики различимое едва.

Сей ветхий, элегический пейзаж
был оживлён художницы фигурой.
Робея пред классической натурой,
не слушался неловкий карандаш..

Усердие её не оставляло.
Она альбом старательно листала,
примериваясь к каждому листу.

Колонны уходили в высоту,
и море равнодушно лепетало,
и жизни человека не хватало,
чтобы поймать последнюю черту.

НЕРОН

Искусный – и не уличённый! – лжец,
граф Калиостро как-то поминал,
что дважды слушал пение Нерона.
Причём, по уверенью графа, дар
властителя был ярок и силен...
А почему бы сладостно не петь
Нерону? Декламатор и поэт,
он мучился призваньем кифареда.
Возможно, что высокий дар ему
отпущен был сполна.
Но тёмный плёбс
рукоплескал не музыке, а страху –
и тихая, летучая молва,
веками мстя за ужас униженья,
перекрестила сладкозвучный голос
в кабаний визг...

Царь, поджигая Рим,
следуя, как пламя мечется по крышам,
уже и впрямь свиноей визжал:
– Горим!..
Но Калиостро этого не слышал.

ОГНИ

Пока ещё плывет в густой ночи
огонь живой –
и плавников лучи
колышутся, упруги и колючи.
Упущенной свободой пахнет сеть –
и горько недобычливой висеть
на веслах, извлеченных из уключин.
Как берега пустынно и темны!
Огонь плывёт –
над ним лишь зрак луны,
в котором отразился мёртвый Авель.

...Ловец сполна отбыл надежды срок,
мочой залил рыбацкий костерок
и безнадежный промысел оставил.
И жить ушел.
Стоградье перед ним:
прищурясь на фасады попригожей,
он выбрал дом, назвал его родным
и щёлкнул выключателем в прихожей.



Тотчас упал на всё идущий свет,
готовый быть интимным, блёклым, тёмным,
трусить везде, где есть электросеть,
вослед за господином обрётённым,
сообщать его вещам товарный блеск,
чуть сумерки, да хоть и спозаранку,
умея дать чуть видимый рефлекс,
но и сверкнуть, чтоб обыграть огранку.
Всё на свету тоскою учтено:
лоснись в лучах, блестящ и сексапилен...

Что ж пробки вырубашь – и в окно
вперяешься, бессмысленный, как филин?

...Пока ещё плывет в густой ночи
огонь живой – а знаешь, так молчи,
не добавляй искателям соблазна.
Немало их и так легло костями –
ведь берега пустынно и темны
и Авель мёртвый в небе – не напрасно!

Не верил ты пугающей луне
и лодку гнал наперерез волне,
как будто настигая понемногу
огонь живой,
рассыпчатый, как смех,
над жаждой постиженья вся и всех
плывущий до сих пор –
и слава Богу.

СОДЕРЖАНИЕ

Последний кузнечик.....	3	Кудрявая.....	36
Биография.....	4	Медведица.....	37
ОБ АВТОРЕ		К войне.....	38
Галина Чурдалёва.....	9	Политика.....	39
Олег Лавричев.....	10	Тысячелетие.....	40
Захар Прилепин.....	11	По мнению витий.....	41
ТЕКУЩЕЕ		Героическое.....	42
Морское течение.....	15	Cancer.....	43
Большой блюз.....	16	Русский модерн.....	44
Псалом.....	19	Рождественский марш.....	45
РОК.....	20	Охотники на снегу.....	46
Текущее.....	21	Убывают мои декабри.....	47
Складень.....	22	Селфи.....	48
Песня о Родине.....	23	Посреди.....	49
Одержимый.....	24	Конец обороны.....	50
Welcome!.....	25	Предатель.....	51
Железный проспект.....	26	Окопная.....	52
Сколько можно.....	28	Пьянок много, а праздников мало.....	53
2012.....	29	ЖАР.....	54
Левша.....	30	Плита.....	59
Василиск.....	31	Sic transit.....	60
Казанка.....	32	Поп.....	61
Земля мала, безмерна полночь.....	33	Берега Светлояра.....	62
Баюн.....	34	Пастораль.....	63
Канавы.....	35	Райцентр.....	64
		Бедняги.....	66

Метро Горьковская.....	67
Будущее.....	68
Трилитон.....	70
Теософ.....	72
Голуби.....	73
Субмарина.....	74
Хронограф.....	75
Площадь.....	76

ОБ АВТОРЕ

Олег Рябов.....	78
Елена Крюкова.....	80
Марина Кулакова.....	82

ЛИСТВА

Полёт вороны над Окой.....	87
Есть алиби у времени.....	88
Листва.....	89
Слияние.....	90
Странствие.....	91
Скайп.....	92
Силуэты.....	93
Наливается сладостным ядом.....	94
В забытьи.....	95
Терракота.....	96
Слеза.....	98
И всё же.....	99

Новобранец.....	99
Солярис.....	100
Жакан.....	101
Стоит мне место покинуть.....	102
Отчуждение.....	103
Увяданье золотое.....	103
Гиперборея.....	104
Нибиру.....	105
Зависть.....	106
Не преодолел пред небом страха.....	106
Холст.....	107
Баллада аватара.....	108
Эльсинор.....	109
К Овидию.....	110
Mea culpa.....	111
Муравей.....	112
Корова.....	113
Монстр.....	114
Уже не помню почему.....	115
Бурьян.....	116
Глуп и горделив.....	117
Жизнь.....	118
Затмение.....	120
Весна в зоопарке.....	121

Снега чрезмерны, как на вырост.....	122
Ветви.....	123
Днем таяло.....	124
Палуба.....	125
Сочинение.....	126
Во мне.....	127
Подари.....	128
Лимб.....	129
Паломник.....	130
Что видишь, друг?.....	132
Не сейчас.....	133
Водопады.....	134
Вертеп.....	136
Кольцо.....	137

ОБ АВТОРЕ

Владимир Безденежных.....	138
Елена Степасюк.....	140
Михаил Воловик.....	142

ЛЕГЧЕ ВОЗДУХА

Корабль дураков.....	145
Анаша.....	146
Легче воздуха.....	148
Ты время своё улучил.....	150
Жалею царей.....	151
Байкер-НН.....	152

Синкопа.....	153
Фоллаут.....	154
Марлен.....	155
Кофейня.....	156
Лорд.....	157
Я тебя не забуду.....	158
Плацкарта.....	159
Сторож.....	160
Ноль.....	161
Как странно.....	162
Всё-то мелет заоблачный мельник.....	163
Пейзаж с путником.....	164
Письма.....	165
Холода.....	166
Мыш.....	167
Купол.....	168
Duty Free.....	169
Аргентина.....	170
Язычник.....	172
Паладин.....	173
Иерусалим.....	174
Маска.....	176
Елена.....	177
Королева фей.....	178
Полюс.....	179
Секонд.....	180

Баллада с драконом.....	181
Бойцовский клуб.....	182
Египетская баллада.....	184
Динозавр горошиною мозга....	186
Граффити.....	187
Переходящий.....	188
Пацанское.....	189
Морок.....	190
Жить, увядая.....	191
Графская пристань.....	192
Ночлег Жуана.....	194
Буратино.....	196
Стимпанк.....	197
Разговор рядового с ветром.....	198
Ода власти.....	201
Снеговик.....	202
Говори.....	203
Крушение.....	204
Каравеллы.....	208
TV.....	209
В сумерках.....	210
Сад радостей земных.....	211
Печалью ни одной не омрачив чело.....	212
Картезианское.....	213
Смок.....	214

Крапленые листья мечет ночь.....	216
-------------------------------------	-----

ОБ АВТОРЕ

Дмитрий Токман.....	218
Светлана Холодова.....	220

ЧУДЕСНАЯ ЖИЗНЬ

Слушаем птиц и ветер.....	223
Отпуска.....	224
Гори все огнем.....	225
Pin-up.....	226
Морской вокзал.....	227
О море.....	228
Пляж.....	229
Медуза.....	230
Прекрасная.....	232
О, молодость.....	233
И теперь, и когда умру.....	234
Сквозь оплавленный воздух июля.....	234
Быть может, под конец, играя.....	235
Нити протянуты в мире таком.....	236
Совершенная осень.....	237
Дым.....	238
Чудесная жизнь.....	239
Насвистывая.....	240

Моё солнце.....	241
Предзимье.....	242
Снимок.....	243
Experience.....	244
Акватинта.....	245
Мы зло противились судьбе.....	246
Пройди, моя любовь.....	247
Тамара.....	248
Гвардия.....	249
Мяв.....	250
Над Большой Покровской дождь повис.....	251
Я.....	252
Сирень.....	253
Полнолуние.....	254
На берегу.....	255
Генуэзская башня.....	256
Химера.....	258
Вариация.....	259
Приблизительность и вероятность.....	260
Среди разных – по массе и яркости.....	260
В любви.....	261
Эльджбета.....	262
Невеста, друг, жена, опять невеста.....	263

Дорогая, прости мерзавца.....	264
На лодочке.....	265
Девайс.....	266
Успеть.....	267
Прохладные песенки.....	268
Ночью.....	270
Куплеты Фауста.....	271
Жизнь спала в снегу, как в нафталине.....	272
Аллея.....	273
Больничное.....	274
Let it Be.....	275
Кай.....	276
Все покрывает время.....	277
Мистерия.....	278
Конец января.....	280
Только любовь.....	281
Ковчег.....	282
Гений.....	283
На земле века суета сует.....	283
Чудо.....	284
Миф.....	285
Этюд.....	286
Нерон.....	288
Огни.....	289

УДК 82-1
ББК 84(2+411.2)6-5
Ч 93



18+

Рисунок
на обложке
Игоря Чурдалёва ©

Автор Игорь Чурдалёв ©
Авторы-составители Владимир Безденежных
Елена Степасюк
Редактор Людмила Фокеева ©
Дизайн/верстка Александр Гущин ©
Иллюстрации Фёдор Кочергин ©
Корректор Ирина Бирюкова
Корректор стихов Светлана Чулочникова
Фото из семейного архива Галина Чурдалёва ©

Издательство «Комарносанеподточит дизайн» ©
www.nepodtochit.ru



Подписано в печать 30.04.21
Заказ № 21_300
Тираж 500 экз.

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами в типографии ИП Гущина Е. Н.

Издатель и типография не несут ответственности за предоставленные автором материалы в сфере авторского права.

Книга издана в просветительских, культурных и образовательных целях к 800-летию города Нижнего Новгорода.



ISBN 978-5-6041566-4-3

Любое воспроизведение текстов, рисунков и фотографий возможно только с разрешения автора или наследников.
gorkynn@mail.ru



СТИХИ. РУ



stihi.ru/avtor/
ingerd1952

ПОЭЗИЯ. РУ



poezia.ru/authors/
ingerd1952/works

СВОБОДНАЯ
ПРЕССА-НН.РУ



svpressa-nn.ru/
author/Igor-Churdalev

ПРОЗА.РУ



proza.ru/avtor/
ingerd1952



Игорь Чурдалёв,
поэтический вечер,
2 сентября 2012 года



youtu.be/
dkXGVP0mCLc

Игорь Чурдалёв -
встреча!!!
2 сентября 2012 года



youtu.be/
6-70TMKejls

Чурдалёв:
агрессивности
недостаточно,
25 октября 2013 года



youtu.be/
jtjxCwez2GY

«Захар» с поэтом
Игорем Чурдалёвым,
12 декабря 2013 года



youtu.be/
IDslWMwrAb0

Беседы на
гуманитарные темы,
6 июня 2018 года



youtu.be/
BFKlEDkd1w

Данная книга – результат интенсивного периода последних лет творчества Игоря Чурдалёва, когда были созданы знаковые произведения, такие как «Иерусалим», «Площадь», «Граффити»...

При жизни поэта издание сборника так и не состоялось. Благодаря инициативе, финансовой и организационной помощи председателя Думы города Нижнего Новгорода, председателя совета директоров АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина» Олега Вениаминовича Лавричева к первой годовщине смерти Игоря книга вышла в свет.

Олег Вениаминович и его творческая команда подошли к этому проекту как к глубоко личному и чрезвычайно важному. В итоге получился самый полный и красивый сборник стихов Чурдалёва.

Чурдалёв всегда дорожил дружбой с Лавричевым, ценил его как интересного собеседника и талантливого руководителя.

Тех, кто может искренне оценить стихи Игоря Чурдалёва и настоящую поэзию в целом, всегда было немного. Олег Лавричев в ряду почитателей поэта занимает особое место. Он не только поклонник творчества Игоря, но и делает всё возможное, чтобы издать его стихи и донести их до широкой общественности. Истинный русский меценат. Именно на таких и держится российское искусство.

Мы выражаем сердечную благодарность Олегу Вениаминовичу за поддержку и сохранение слова Игоря в этой книге.

Алла Чурдалёва
Галина Чурдалёва

ISBN 978-5-6041566-3-6



9 785604 156636